SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- Михаил Михайлович Филиппов
  -
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
  - Глава VIII
  - Источники
- notes
  - 1
  - 2

Михаил Михайлович Филиппов Иммануил Кант. Его жизнь и философская деятельность

Биографический очерк М. М. Филиппова

С портретом Канта, гравированным в Лейпциге Геданом

Глава I

Происхождение. – Детство. – Пиетизм. – Школьные учителя и товарищи. – Раннее развитие характера

В начале XVIII столетия город Кенигсберг стал быстро развиваться в промышленном и в интеллектуальном отношениях. Польское владычество с его постоянными неурядицами, с преобладанием землевладельческих интересов и отсутствием сколько-нибудь значительных промышленных центров мало способствовало развитию среднего сословия. С тех пор, однако, как великий курфюрст утвердил господство Бранденбурга над южным берегом Балтийского моря, торговое значение Кенигсберга быстро возросло. Кенигсберг стал главным пунктом сношений между земледельческой Польшей и торговыми странами Запада – Голландией и Англией. Вместе с торговлей развились и ремесла, занесенные сюда, главным образом, выходцами из Германии. Город стал принимать все более и более немецкое обличье, улицы получили немецкие названия, протестантские кирки заняли место костелов. Кроме выходцев из Германии, в Кенигсберге было много иностранцев разных национальностей – шведов, англичан, шотландцев, голландцев. К числу таких иностранцев принадлежал и дед Канта. В конце XVII века политические и религиозные притеснения вызвали усиленную эмиграцию из Шотландии. Неизвестно, какие причины побудили деда великого философа поселиться в Тильзите. Еще отец Канта, Иоганн-Георг, считал себя шотландцем и писал свою фамилию по-шотландски (Cant вместо Kant). Так подписывался первоначально и сам философ, но, заметив, что некоторые немцы произносят его фамилию неправильно (Цанг вместо Кант), усвоил немецкую орфографию.

Шотландское происхождение представляет некоторый интерес в том отношении, что сближает Канта по крови с философом, наиболее родственным ему по духу – Юмом. Не следует, однако, забывать, что по матери Кант был чисто немецкого происхождения – мать его в девичестве носила фамилию Рейтер. Среда, в которой воспитывался Кант, состояла почти исключительно из мелких немецких бюргеров, купцов и ремесленников. С английскими купцами, принадлежавшими к составу лучшего кенигсбергского общества, Кант сблизился уже в зрелых летах. Отец Канта был по ремеслу седельным мастером и жил в так называемом Седельном переулке, возле Зеленого моста,

центра речной торговли Кенигсберга. В скромном домике, на котором красовалась вывеска его отца, 22 апреля 1724 года родился Иммануил Кант. Из одиннадцати братьев и сестер он был четвертым; у него было три брата и семь сестер. Шестеро из одиннадцати умерли в раннем детстве. Единственный оставшийся в живых брат Канта был на одиннадцать лет моложе философа, отличался хорошими, но далеко не гениальными способностями, изучал богословие, историю и филологию, к философии питал мало склонности и никогда не мог понять умозрений своего брата. Этот Иоганн-Гейнрих Кант жил почти постоянно в Митаве, где был священником. Было время, и это время совпадает с расцветом философской деятельности Иммануила Канта, когда братья совсем прекратили переписку, возобновившуюся лишь в 1790 году. Брат Канта умер несколько раньше философа (в 1800 году). Единственная черта сходства между братьями – энергия характера: в этом они оба походили на мать.

О родителях Канта известно немногое, и притом, главным образом, лишь со слов самого Канта. В начале XVIII века в Кенигсберге, как и во многих городах северной Пруссии, был значительно распространен пиетизм, созерцательное религиозное настроение, представлявшее резкий контраст с проникнутым канцелярскими началами правоверным протестантизмом. При умеренно мистическом направлении пиетизм имел по преимуществу моральный характер и господствовал, главным образом, среди ремесленников и низшего духовенства. Как и во всяком религиозном сектантстве, в пиетистическом направлении был немалый элемент ханжества. Но той скромной среде, в которой вращался Кант, это ханжество было совершенно чуждо.

Влияние пиетизма прежде всего отразилось на чисто внешних сторонах его домашней обстановки. По словам самого Канта, он никогда не слышал от своих родителей ничего неприличного и не видел ничего недостойного. Любопытны следующие слова Канта, сказанные им Ринку:

> «Хотя религиозные представления того времени и понятия о том, что такое добродетель и набожность, были весьма неясны, но соответствовавшие им вещи были найдены. Пусть говорят, что угодно, о пиетизме, но люди, относившиеся к нему серьезно, были люди почтенные. Они обладали наивысшим возможным для человека спокойствием, веселостью, внутренним миром, не смущались никакими страстями, не боялись никакой нужды, никаких преследований. Никакой вызов, никакое

> задирательство не смущало их внутреннего мира и не побуждало их к гневу и вражде. Словом, всякий наблюдатель невольно должен был уважать их. Я помню еще теперь, как однажды начался спор о правах между двумя цехами – шорниками (выделывавшими ремни) и седельниками. Мой отец сильно пострадал в этом деле; но даже при домашнем обсуждении этой ссоры в словах моих родных было столько пощады и любви к противникам, что, хотя я был маленьким мальчиком, мысль об этом никогда меня не оставит».

Эти слова характеризуют всю ту нравственную атмосферу, в которой вращался Кант. По общему свидетельству его первых биографов, мать Канта оказала на сына более значительное влияние, нежели отец.

Кант походил на мать характером и телосложением: от нее он унаследовал впалую слабую грудь. С раннего детства Кант отличался слабым здоровьем. Мать нежно любила хилого ребенка, холила его и много занималась его воспитанием. Мальчик обнаружил острую наблюдательность и пытливость. Говорят, что мать, несмотря на свое ограниченное образование, значительно развивала его пытливость. Гуляя с ним, она постоянно обращала внимание сына на окружающую природу, поясняя свои слова цитатами из псалмов и других мест Библии, в которых восхваляется благость и премудрость Творца. Таким образом, то доказательство бытия Божия, которое известно под названием физико-теологического и которое Кант ценил даже после того, как отверг его, было ему известно в наивной и простодушной форме еще в младенческие годы. С ним связывались для Канта лучшие воспоминания детства, оно вызывало в его памяти первые уроки матери. Все это чрезвычайно важно в психологическом отношении. Любопытно, что и нравственное учение Канта имеет несомненную психологическую связь с первыми впечатлениями его детства. Связь эту открыто признавал сам философ. На семьдесят четвертом году жизни он писал епископу Линдблому, что может, относительно своего генеалогического дерева, похвастать лишь одним, а именно: что и отец, и мать его были ремесленники, отличавшиеся честностью, нравственной пристойностью и образцовой порядочностью, не имея состояния, но зато и долгов, «и дали воспитание, которое, с моральной точки зрения, не могло быть лучшим». По словам Канта, каждый раз, когда он вспоминал о том, чем обязан родителям с нравственной стороны, он чувствовал себя преисполненным трогательной благодарностью.

Существуют и более определенные указания на характер нравственного воспитания, полученного Кантом. По словам одного из ранних биографов, отец Канта требовал от детей «труда и честности, в особенности, избегать всякой лжи; мать требовала еще большего, а именно: святости. По всей вероятности, это и способствовало той непреклонной строгости, которую впоследствии обнаружил Кант в своем нравственном ученье». Сам Кант говорил, что унаследовал от матери черты лица и характера.

> «Я никогда не забуду своей матери. Она насадила и взлелеяла во мне первый зародыш добра, она открыла мое сердце впечатлениям природы, она возбудила и расширила мои понятия, и ее поучения оказали непрерывное спасительное влияние на всю мою жизнь».

Этих фактов и показаний совершенно достаточно для того, чтобы доказать, что первые основы кантовской морали следует искать не у его философских предшественников и не в его теоретических размышлениях, а в той практической области, которая окружала его с раннего детства.

Не только нравственным, но и умственным воспитанием Кант много обязан родителям, и особенно матери. Заметив способности сына, мать решила, что маленький Иммануил не должен продолжать занятия отца. С ее точки зрения, на вершине умственного развития стояли ее духовные учителя; поэтому мать Канта решила подготовить сына к духовному званию. Прежде чем принять это решение, она пригласила своего духовника д-ра Франца Шульца, чтобы посоветоваться относительно дальнейшего воспитания сына, до тех пор посещавшего одну из начальных школ, появившихся в изобилии во всех предместьях Кенигсберга.

Как раз к тому времени д-р Шульц взял на себя руководство коллегией Фридриха (Collegium Fridericianum) в Кенигсберге. Шульц был одним из достойнейших и энергичнейших представителей пиетистического направления. Прибыв в 1731 году в Кенигсберг, он был сначала проповедником и советником консистории, затем стал профессором богословия и директором коллегии Фридриха, незадолго перед тем превращенной из частного заведения в государственное. Шульц пользовался доверием берлинского двора; впоследствии ему даже поручили надзор за всем школьным и церковным делом Пруссии. Он считался красноречивым проповедником и ученым догматиком. В бытность свою в Галле Шульц слушал лекции разных выдающихся пиетистов и в то же время был учеником Вольфа, крупнейшего из последователей Лейбница. Систематичность учения Вольфа, отличавшая его от несколько беспорядочного изложения

Лейбница, его обширные познания и ловкий эклектизм, при помощи которого он мирил религию с философией и наукой, – все это внушало мысль, будто Вольф создал какую-то самостоятельную систему. Эта система в течение продолжительного времени считалась даже венцом философского мышления, и господство ее в Германии было безгранично вплоть до появления философии Канта. Даже насмешливый Вольтер, не щадивший Лейбница, высоко чтил его ученика, стоявшего не выше философской посредственности, и однажды написал известную фразу: «Wolfio docente, rege philosophe regnante» (когда учил Вольф и царствовал король-философ), одинаково лестную для Вольфа и для Фридриха II.

Было время суровой реакции, когда учение Вольфа, по существу далеко не революционное, считалось опасным. Со вступлением на престол Фридриха II настали лучшие времена. Податливость учения Вольфа много способствовала сближению его с пиетизмом. Когда Шульц находился в Галле, здесь религия и философия давно торжествовали полное примирение, до сих пор отыскиваемое многими философскими школами. Сам Вольф считал Шульца одним из способнейших своих учеников; другим учеником того же Вольфа был кенигсбергский профессор Кнутцен, которого, в противоположность Шульцу, привлекала не богословско-нравственная, а физико-математическая сторона учения Вольфа.

Шульц и Кнутцен были учителями, оказавшими на Канта в его юношеские годы наибольшее влияние. Благодаря им Кант примыкает к так называемой лейбнице-вольфовской школе, бывшей колыбелью новой германской философии и составляющей естественный переход от схоластической метафизики к учению Канта.

Канту было менее десяти лет, когда он поступил в коллегию Фридриха. Хотя это училище отстояло дальше всех средних школ от дома, где жили родители Канта, мать доверила обучение сына высокоуважаемому ею д-ру Шульцу. Несмотря на робость и застенчивость мальчика, Шульц угадал в нем выдающиеся способности и одобрил выбор матери, советуя Канту изучать богословие.

Пиетистический дух, господствовавший в коллегии Фридриха, исходил не от одного Шульца, но в еще большей степени от ее основателя, д-ра Генриха Лизия, который даже по приобретении школою казенных прав неограниченно распоряжался назначением учителей. В особой церкви этого заведения богословы пиетистического направления читали священную историю, произносили поучения и проповеди. Не

ограничиваясь частым посещением этих чтений, Кант с матерью посещал молитвенные часы профессора Шульца, что тот особенно рекомендовал своим ученикам. На этих часах произносились проповеди, возбуждавшие религиозный энтузиазм. О содержании их можно судить уже по названиям; так, одна из проповедей была озаглавлена «О блистательной борьбе Иисуса». Пылкое красноречие Шульца производило на малолетнего Канта сильное впечатление. Шульц не ограничивался духовной помощью прихожанам и ученикам. Следуя правилу «вера без дел мертва», он поддерживал прихожан чем мог: кого советом, кого утешением, кого деньгами, пищей и одеждой. Родители Канта не нуждались в хлебе насущном и никогда не обращались за благотворительной помощью. Тем не менее, Шульц считал своей обязанностью оказывать им маленькую помощь в виде подарка к праздникам. Ко дню Рождества родители Канта получали от доброго профессора дрова, которые даже привозились к ним на дом. Часто Шульц помогал матери Канта советом, даже сам являлся к ней и указывал на способности ее Иммануила. В глубокой старости Кант хотел из чувства признательности «поставить Шульцу почетный памятник» в своих сочинениях, и только предсмертный упадок сил помешал философу исполнить это намерение.

О ранней юности Канта известно немногое. Слабость здоровья, природная робость и значительная рассеянность препятствовали успешности его занятий, а между тем не все учителя отличались проницательностью Шульца и умели видеть способности под оболочкой застенчивости. Дисциплина в школе отличалась суровостью, и нельзя сказать, чтобы Кант впоследствии одобрял дух, господствовавший там. Еще о начальной школе он отзывался в довольно неодобрительных выражениях. По его словам, большинство учителей отличалось сердитым нравом и чрезмерной строгостью; тем не менее, в начальной школе дисциплина соблюдалась лишь у одного учителя, болезненного и весьма неказистой наружности, но любимого учениками за его знания и преподавательские способности. Немногим лучше было в коллегии, где Кант учился в течение семи лет. Кроме Шульца, сравнительными достоинствами отличался преподаватель латинского языка Гейденрейх; зато математика и логика были очень запущены и преподавали их совершенно ничтожные личности вроде Кухловиуса. Впоследствии Кант, вспоминая о той математике и логике, которою его пичкали в школе, с трудом мог удержаться от смеха… «Эти господа, – сказал он однажды своему бывшему школьному товарищу Кунде, – не могли зажечь в нас даже

малейшей искры», «Скорее могли затушить», – ответил на это Кунде.

Названный Кунде вместе с Кантом и будущим знаменитым филологом Рункеном составляли род триумвирата, связанного узами теснейшей дружбы. Из всех преподавателей один только учитель латинского языка успел заинтересовать «триумвиров», а потому и неудивительно, что они на школьной скамье вообразили себя будущими филологами. Ввиду этого они поспешили переделать на латинский лад свои имена и называли себя Кундеус, Кантиус и Рункениус. Из троих только один Рункен остался верен юношескому выбору и действительно прославился как филолог. Главным местом его деятельности стал Лейден, откуда много лет спустя (10 марта 1771 года) Рункен написал Канту любопытное письмо, рисующее их школьные отношения. Из письма этого видно, между прочим, как незначительны были в конце XVIII века сношения между учеными столь близких между собою стран, как Голландия и Германия. Рункен пишет, что ему редко удавалось доставать написанные на немецком языке сочинения Канта, о которых он узнавал главным образом из газетных отзывов. Жалея о том, что Кант мало пишет на латыни, и замечая, что немецкий язык делает сочинения Канта «малодоступными» и мешает их распространению среди ученых всего мира, Рункен напоминает школьному товарищу о том времени, когда они вместе мечтали и говорили на латыни. «Для тебя было бы не трудно писать на латыни, – замечает Рункен. – Тогда и англичане, и голландцы могли бы понять тебя. Ты ведь еще в школе прекрасно писал на латыни. Судя по твоим способностям, все предсказывали, что ты достигнешь блестящей будущности на поприще словесности». Но особенно любопытно замечание Рункена об общем духе школьного учения. «Тридцать лет прошло с тех пор, – пишет он в своем латинском послании, – как мы с тобою подвергались скучной дисциплине фанатиков, хотя в учении было кое-что полезное, о чем нечего жалеть». Этот самый Рункен, как самый богатый из троих, доставал дорогие книги, которые читались сообща.

Кант вместо замечательного филолога стал первым философом своего века. Что касается третьего члена триумвирата, способного Кунде, судьба его была печальна. Не умея выбраться из нужды и подняться выше окружающей обстановки, он перебивался кое-как, занимая ничтожную должность и не достигнув даже скромной известности.

Из прочих товарищей Канта, с которыми он дружил на школьной скамье, можно указать на Вилькеза и Труммера. Вилькез интересен потому, что он чуть ли не первый занес идеи

Канта в Россию, куда уехал, став гувернером у детей князя Волконского. Он жил впоследствии в Москве, но в 1771 году приехал на время в Кенигсберг, а оттуда – в Голландию. Узнав от Вилькеза подробности о деятельности Канта, Рункен вздумал вступить с философом в переписку. Переписка, однако, не завязалась, – быть может, потому, что в то время Кант уже несколько отвык думать по-латински и испытывал некоторое затруднение в латинской стилистике, а отвечать по-немецки знаменитому филологу не хотел.

Труммер был одним из тех товарищей, к которым Кант питал сильную привязанность. Он был единственным врачом, которому Кант доверял настолько, что согласился принимать прописанные им слабительные пилюли, – единственное лекарство, признанное для себя Кантом.

По словам одного из школьных товарищей, в школе Кант не обнаруживал ни малейшей склонности к философии, и никому даже не могло прийти в голову, что из него «выйдет философ». Отчасти это следует отнести на счет разных Кухловиусов, преподававших логику и другие близкие к философии предметы по схоластическому методу. Но, помимо этого, о Канте следует сказать, что ум его, как и ум Ньютона, развился сравнительно поздно. В нем не было признаков той ранней гениальности, которою отличались, например, Лейбниц и Паскаль. Если не считать так называемой «гениальной рассеянности», которою Кант, подобно Ньютону, отличался с детства, трудно указать признаки, которые характеризовали бы его в ранней юности как будущего реформатора философии. О рассеянности Канта сложилось немало анекдотов, из которых достаточно привести один. Еще в начальной школе он часто терпел от учителей за то, что являлся без книг, о чем обыкновенно вспоминал лишь в тот момент, когда входил в класс. Однажды он вывел учителя из себя заявлением, что он раньше забыл, куда положил книгу, но вспомнил об этом как раз в момент, когда его об этом спросили; учитель, конечно, не поверил и приписал это нежеланию учиться.

Весьма рано обнаружилась у Канта характеризовавшая его способность побеждать свои душевные волнения. В детстве Кант, как и большая часть детей хилых, слабогрудых и малокровных, не отличался особенной храбростью. Но в минуту действительной опасности он сумел обнаружить удивительное присутствие духа. Восьмилетним мальчиком он однажды вздумал перейти через глубокую канаву с водою по перекинутому бревну. Не успел он пройти несколько шагов, как голова его закружилась. Он хотел вернуться назад, но бревно закачалось и готово было совсем скатиться. Тогда маленький Кант сделал над собою усилие и,

стараясь не смотреть вниз, устремил глаза на одну точку по ту сторону канавы; смотря пристально и не поддаваясь чувству страха, он благополучно переправился на ту сторону.

Победив в себе природную робость, зависевшую от деликатности его нервной организации, Кант не сумел в такой же степени отделаться от застенчивости. Это его качество изгладилось лишь в самых зрелых летах, перейдя постепенно в скромность, отличавшую Канта даже в то время, когда он был наверху своей славы.

Глава II

Университетские годы. – Влияние Кнутцена. – Самоотверженность матери Канта. – Ее смерть. – Богословская подготовка и другие занятия

Исключая знание латинского языка и моральное влияние богословских поучений Шульца, средняя школа ничего не дала Канту и, быть может, даже задержала развитие его гения. Значительно благотворнее повлиял на него университет. В то время Кенигсбергский университет еще не был, как значительно позднее, «приютом для прусских лейтенантов». Здесь находились крупные научные силы и, что в особенности было важно для Канта, как раз физико-математические науки, загнанные и униженные в коллегии Фридриха, здесь находились в большом почете. Из профессоров, оказавших особое влияние на Канта, необходимо указать на Мартина Кнутцена, читавшего философию и математику. О Кнутцене было уже упомянуто (наряду с Шульцем) как об ученике Вольфа.

Подобно Канту, Кнутцен был уроженцем Кенигсберга. Свою карьеру он начал блистательно, получив еще на двадцать первом году жизни кафедру логики и метафизики. Этот талантливый и трудолюбивый молодой ученый одним из первых в Германии взял на себя задачу популяризировать бессмертные произведения Ньютона.

Это тем более замечательно, что Кнутцен как последователь лейбнице-вольфовской философии был, до известной степени, предрасположен не в пользу английской философии вообще и умозрений Ньютона в особенности.

Кнутцен умер во цвете лет (1751), вскоре после того, как отпраздновал свою тридцать седьмую годовщину. Он был лишь десятью годами старше своего гениального ученика. Влияние Кнутцена на Канта не подлежит никакому сомнению. Он первый отклонил Канта от филологических занятий, указав ему на необозримое поле натуральной и моральной философии. Насколько самостоятельно относился сам Кнутцен к господствовавшему в Германии философскому эклектизму, доказывается не только глубоким уважением к Ньютону, которое он питал сам и вселял своим ученикам, но и его собственными философскими умозрениями, довольно замечательными для своего времени. В своем вступительном сочинении (какие пишутся в Германии для получения кафедры) Кнутцен разобрал

вопрос о связи между душою и телом (1733), причем решительно отверг учение Лейбница о предустановленной гармонии. В то время как Вольф, не решаясь расстаться с «гармонией», ограничился тем, что вместо «мировой гармонии» признал лишь «антропологическую», то есть допустил ее для души по отношению к телу, Кнутцен поступил гораздо решительнее и смелее, допустив чисто физическое влияние или «естественное взаимодействие между душою и телом, составляющее необходимое последствие естественного взаимодействия между всеми вещами в мире». Отношение между душою и телом было, с точки зрения Кнутцена, лишь частным случаем великого закона «действия, равного противодействию», установленного (с чисто механической точки зрения) Ньютоном.

Исходя из этих начал, Кнутцен развил целое философское учение, изложенное в его главном сочинении «Система действующих причин» (1745), которое стоит гораздо ближе к английскому эмпиризму, чем к философии Лейбница. Не следует, однако, думать, чтобы молодой Кант, даже в начале своего философского поприща, стал клясться словами учителя. Работы Кнутцена повлияли на него побудительным, но не убедительным образом. Механическое миросозерцание казалось Канту слишком узким и, не принимая безусловно ни философии Лейбница, ни какой-либо иной философской системы, Кант уже на первых порах обнаружил проницательный критический талант, не позволявший ему увлечься какою-либо односторонней догмой.

Университетская карьера Канта находится в тесной связи с его семейными обстоятельствами. Еще до вступления в университет (на тринадцатом году жизни) Кант потерял мать.

Потеря эта была для него чрезвычайно чувствительной. До глубокой старости Кант не мог говорить без признаков сильного душевного волнения о подробностях смерти своей матери, которая умерла, как жила, став жертвою любви к ближнему. Одна ее нежно любимая подруга была обручена с человеком, который обманул невесту и женился на другой. Обманутая заболела, желала смерти и не хотела принимать лекарства. Мать Канта ухаживала за больной, заменяла сиделку и убеждала подругу принять какую-то микстуру. Для большей убедительности она сама выпила из ложки, которую употребляла больная. Между тем, у больной оказался тиф. Мать Канта заразилась; помимо того, она вообще была мнительна к болезням, что содействовало потрясению ее нервной системы. Через несколько дней она сама слегла и вскоре умерла.

После смерти матери Канта дела отца сильно запутались, и, если бы не дядя по матери, ремесленник Рихтер, Кант не имел бы

средств для поступления в университет. Исполняя завет матери, Кант записался первоначально на богословский факультет и весьма усердно посещал лекции некоторых богословов. Без всякого сомнения, он в начале своего студенческого поприща серьезно и добросовестно готовился к священническому званию и лишь постепенно пришел к убеждению, что не чувствует призвания к этого рода деятельности. Помимо прочего, чтение пробных проповедей убедило Канта, что его голос слишком слаб для проповедника. Само собою разумеется, что посещение богословских лекций и штудирование своих записок по богословию занимало лишь часть времени Канта. Кроме лекций Кнутцена по математике и философии, он с увлечением следил за лекциями Теске по физике. Изучение физико-математических наук дало умственной деятельности Канта совершенно новое направление. По свидетельству одного из его университетских товарищей (Гейльсберга), в конце своей студенческой жизни Кант едва ли мог считаться «завзятым студентом теологии». Никто из товарищей Канта вообще не мог понять, к какой житейской карьере он готовится. План его университетских занятий, в котором физико-математические науки перемешивались с богословием, с языкознанием и так далее, казался его товарищам настоящей загадкой. Даже ближайший университетский друг и товарищ Канта, д-р Труммер, ничего не знал об этом, исключая то, что Кант по преимуществу занимался нравственными и словесными науками, но в то же время и математикой, и латинскими классиками, и философией. «К чему ему все это?» – спрашивали некоторые товарищи, полагавшие, что из Канта выйдет хороший сельский священник.

Глава III

Смерть отца. – Башмачник Рихтер издает первое сочинение Канта. – Первый вызов метафизикам

Кант провел на студенческой скамье пять лет (1740–1745) – срок, который считался нормальным для студента со средними способностями. Таким образом, даже в университете Кант не успел ничем проявить своих особенных дарований и философской глубины мысли. Случай для этого представился вскоре по окончании им университетского курса.

Во время пребывания Канта на студенческой скамье материальные обстоятельства его были весьма плохи. За ничтожную плату преподавал он математику и другие предметы. Чаще всего он занимался с богатыми товарищами, репетируя с ними затруднявшие их лекции. Было время, когда Кант добивался вакантного места *учителя* в латинской школе в Кнейпгофе. Должность эта была чрезвычайно обременительна, все время поглощалось занятиями с учениками и проверкой их тетрадей, но Канта прельщала мысль о том, что эта должность давала доступ к богатой дворцовой библиотеке. Канту предпочли другого конкурента – круглого невежду, некоего Канерта – и, быть может, философ выиграл от того, что не был вынужден тянуть лямку, которая могла преградить ему доступ к академической карьере.

24 марта 1746 года умер отец Канта. Это новое семейное горе глубоко опечалило его. Сам Кант вписал это событие, по протестантскому обычаю, в семейную Библию, причем заметил между прочим, что на долю его отца выпало немного радостей в жизни.

После смерти отца материальное положение Канта, только что окончившего университетский курс, стало почти отчаянным. По счастью, его двоюродный дядя по матери, честный башмачник Рихтер, оказывавший поддержку Канту, когда тот был еще студентом, и теперь взялся поддержать первые шаги молодого ученого. Немецкие ремесленные классы могут со справедливою гордостью указать на то, что первое печатное произведение величайшего философа Германии было издано на свой страх и риск простым башмачником, сумевшим оценить в племяннике способного и подающего надежды человека. Первым появившимся в печати сочинением Канта была напечатанная за счет Рихтера брошюра «Мысли об истинной оценке живых сил в природе».

Это первое печатное произведение Канта (автору было в то

время 23 года) проникнуто пылом молодости и, в противоположность позднейшим его сочинениям, отличается даже некоторым задором. «Теперь, – пишет он, – мы смело попытаемся счесть за ничто авторитет Ньютона и Лейбница, если мы можем противопоставить их утверждениям открытие истины. Мы не будем повиноваться никаким убеждениям, кроме внушений рассудка. Я предначертал себе путь, – пишет далее Кант, – которому намерен следовать. Ничто не совратит меня с этого пути».

Сочинение это любопытно лишь с чисто исторической и биографической точек зрения, как первая проба пера гениального философа. Впрочем, в нем нет недостатка в отдельных весьма метких и глубоких замечаниях. Здесь уже видна первая попытка решить вопрос о природе пространства. Кант замечает, что трехмерность и другие свойства пространства зависят, быть может, от «особого способа представления, свойственного нашей душе». Кант говорит здесь, что постарается в будущем возвратиться к обсуждению этого вопроса.

Подобно своему любимому профессору Кнутцену, Кант решительно отстаивает учение Ньютона о всемирном тяготении против картезианцев и правоверных сторонников Лейбница. В сложности и искусственности системы Декарта Кант видит доказательство ее ошибочности. «То мнение должно одержать верх, – говорит Кант, – которое описывает природу такою, какова она есть, то есть простою и без бесчисленных окольных путей». Любопытна также первая вылазка Канта против ходячей метафизики.

> «Наша метафизика, – пишет он, – подобно многим другим наукам, стоит лишь на пороге вполне основательного познания. Бог знает, когда она перешагнет этот порог. Нетрудно видеть ее слабость во многих ее предприятиях. Весьма часто мы видим, что сильнейшей опорой ее доказательств служит предрассудок. Виною в этом чаще всего является господствующая склонность тех, кто стремится расширить человеческое познание. Они предпочитают весьма обширную мудрость основательному знанию».

Таким образом, в первом произведении Канта уже слегка намечен вопрос о необходимых границах познания. Сама постановка этого вопроса на научной почве была совершенно чужда и богословскому догматизму, и метафизическому рационализму. Для богослова границею разума была вера; метафизик считал область познания безграничною. Надо было

поставить вопрос, не может ли разум исследовать свои собственные границы? В постановке и решении этого вопроса состоит главная заслуга критической философии Канта.

Глава IV

Кант в роли домашнего учителя. – Гюльзены и Кайзерлинги. – Защита трех диссертаций. – Физическая монадология. – Пятнадцать лет приват-доцентства. – Кант – русский подданный. – Прошение на имя императрицы Елизаветы. – Разные неудачи. – Кант получает кафедру

Стесненные материальные обстоятельства побудили Канта искать средства к жизни. За неимением ничего лучшего он занялся домашним учительством и в течение девяти лет преподавал в разных частных домах. Сам Кант считал себя в области педагогики хорошим теоретиком, но посредственным практиком. Однажды он высказал о себе следующее мнение: «Я никогда не умел применять на деле мои собственные педагогические правила». Суждение это следует всецело отнести на счет скромности Канта; по крайней мере, ни родители, ни ученики не разделяли этого мнения, и один только Кант говорил о своей педагогической практике: «Трудно представить себе худшего гувернера, нежели я». Прежде всего Кант был учителем в доме реформатского проповедника Андерша, затем – в дворянской семье фон Гюльзена, наконец – в доме графа Кайзерлинга. Все эти семьи навсегда сохранили к нему дружбу и признательность. Один из молодых Гюльзенов впоследствии жил у Канта в качестве пансионера. О влиянии Канта на своих воспитанников можно судить по одному тому факту, что молодой Гюльзен был впоследствии одним из первых прусских помещиков, добровольно освободивших крестьян от барщины.

Лично для Канта наибольшее значение и интерес представляло его продолжительное пребывание в доме графа Кайзерлинга. Семья графа проводила зиму в Кенигсберге, лето – в деревенском доме графа, в Раутенбурге. Графиня Кайзерлинг, урожденная имперская графиня фон Труксесс, была известна как одна из умнейших и образованнейших женщин своего времени. Она высоко ценила Канта; Кант, в свою очередь, усвоил в доме графини изящные манеры, которыми впоследствии удивлял всех ожидавших встретить глубокомысленного кабинетного мудреца. В течение тридцати лет, до самой смерти графини, Кант оставался близким другом ее дома.

Кант терпеть не мог излишней церемонности и дутого чванства; но у так называемых аристократов он ценил изящество манер и уменье владеть собою, причем часто говорил, что считает

эти качества необходимыми для всякого развитого человека. Помимо манер, в доме графа Кайзерлинга Канта привлекали беседы о французской, итальянской и английской литературе; беседы эти происходили большей частью во время обеда, и отсюда возникла у Канта страсть к застольным беседам, которую он сохранил до глубокой старости.

В 1755 году Канту удалось, наконец, получить кафедру при Кенигсбергском университете. Двенадцатого июня он представил на магистерскую степень латинское сочинение «Об огне». Бывший учитель Канта, профессор физики Теске, прочитав этот трактат, сказал: «Это сочинение выше всяких похвал; я сам научился кое-чему отсюда». Факультет единогласно провозгласил Канта магистром словесности (magister artium). Несколько позже, 27 сентября того же года, Кант представил другое сочинение – «О принципах метафизического познания», которое защищал публично, после чего получил кафедру философии в качестве приват-доцента. Королевский указ 1749 года предписал, однако, чтобы каждый занимающий кафедру диспутировал публично не менее трех раз. Ввиду этого Кант защищал еще раз, в апреле 1756 года, сочинение «О физической монадологии».

Две из названных диссертаций Канта, а именно «Об огне» и «О физической монадологии», находятся в тесной связи с упомянутым уже юношеским трактатом об измерении сил. Во всех физических трактатах Канта нельзя не видеть одной общей идеи, а именно идеи динамизма. Кант утверждает, что сцепление и упругость тел зависят от той же упругой материи, которая является причиною теплоты и огня (горения). «Волнообразное движение этой материи, – пишет Кант, – и есть то, что получило название теплоты. Материя теплоты есть не что иное, как эфир, иначе называемый материей света». Этот эфир наполняет все промежутки или поры между частицами материи, которые своим взаимным притяжением сжимают эфир, между ними находящийся.

В общих чертах это учение Канта немногим отличается от современных взглядов на «обыкновенную» и «эфирную» материю.

Не менее любопытны рассуждения Канта о физической монадологии. Поставив себе задачей согласовать монадологию с физикой, Кант выбрасывает за борт всякие «простые сущности» и откровенно объясняет, что будет иметь дело с «физическими монадами», другими словами, – с атомами. Монады неделимы, пространство, наоборот, делимо до бесконечности. Возникает вопрос, каким образом возможно существование монад в пространстве? Кант решает этот вопрос, заявляя, что монада есть сила (или центр силы, по терминологии позднейших физиков),

имеющая определенную *сферу действия.* Таким образом, сила «наполняет пространство», оставаясь, однако, неделимою, подобно математической точке. (Здесь многие видят зародыш: учения о так называемом *потенциале).* Кант допускает постоянное взаимодействие притягательных и отталкивающих сил и этим способом объясняет непроницаемость и массу тел. Значительный интерес представляют также рассуждения Канта об относительном движении. Кант отвергает существование абсолютного покоя и считает все движения относительными. Вместе с тем он отвергает и учение о «силе инерции» в той форме, какую придают этому учению даже многие новейшие учебники механики и физики.

Несмотря на то, что Кант успел обратить на себя внимание университета, академическая карьера его подвигалась необыкновенно туго. В течение *пятнадцати* лет он вынужден был оставаться приват-доцентом. Различные обстоятельства послужили для него серьезной помехой. Еще в 1751 году умер любимый профессор Канта, Кнутцен, и после смерти его кафедра логики и метафизики в течение долгого времени оставалась незанятой. В 1755 году Кант начал в зимнем семестре ряд академических чтений по математике и физике. По тогдашним правилам, каждый молодой профессор должен был следовать какому-либо признанному авторитету. Кант избрал своим авторитетом Вольфа в области математики, и Эбергардта – по физике. Но насколько самостоятельно относился он к своим официальным руководителям, видно хотя бы из следующих слов Канта, находящихся в его «Физической монадологии»: «Я знаю, что те господа, которые привыкли выбрасывать вон, как ненужный сор, все, что не имеет на себе клейма вольфовой или какой-либо иной знаменитой фабрики, сочтут мои мысли не стоящими внимания».

Лекции Канта имели значительный успех. Кант пытался обратиться к прусскому правительству с целью добыть экстраординарную профессуру. Но как раз в это время началась Семилетняя война, и правительству было не до раздачи кафедр. Прошение Канта было оставлено, выражаясь канцелярским языком, без последствий.

Два года спустя (1758) стала вакантной кафедра ординарной профессуры по логике и метафизике. Еще в начале этого года русские войска овладели Пруссией и 22 января вступили в Кенигсберг. Все управление краем, включая и университетскую администрацию, попало в руки русского генерала (из немцев) барона фон Корфа. Жители Кенигсберга были приведены к присяге, в городе праздновались русские царские дни, и

профессора пиитики слагали в честь императрицы Елизаветы хвалебные вирши.

При таких обстоятельствах Кант должен был ожидать милостей от русского правительства, и он обратился к императрице со всеподданнейшим прошением, которое лишь в 1893 году было сообщено в печати. Документ этот не фигурирует ни в одном немецком издании сочинений Канта, его нет и ни в одной из до сих пор изданных биографий великого философа, поэтому мы считаем себя вправе привести его здесь полностью.

> «Пресветлейшая, всесильная Государыня, Самодержица всея Руси, всемилостивейшая Государыня и великая жена!
>
> Вследствие смерти покойного доктора и профессора Кипке (Курке) Professio ordinaria логики и метафизики, которую он занимал в здешнем Кенигсбергском университете, стала вакантною. Эти науки всегда составляли главнейший предмет моих занятий. В продолжение тех лет, когда я находился в здешнем университете, я каждый семестр читал обе эти науки, на частных уроках. Я имел в этих науках две публичные dissertationes и, кроме того, стремился ознакомить с результатами моих работ в четырех статьях, помещенных в Кенигсбергском ученом сочинении (Intelligenzwerk), в трех программах и трех других философских tractata. Надежда, с которою я льщу себя посвятить службе академии наук, а главным образом, всемилостивейшее желание Вашего Императорского Величества оказывать наукам высокое покровительство и Всемилостивейшую поддержку, побуждают меня всеподданнейше просить Ваше Императорское Величество всемилостивейше пожаловать мне освободившуюся professionem ordinariam и надеюсь, что senatus academicus, ввиду обладания мною необходимыми способностями, сопроводит мое всеподданнейшее прошение не неблагоприятными свидетельствами. Я уверяю в глубочайшей devotion Вашего Императорского Величества всеподданнейший раб Эммануил Кант. Кенигсберг 14 декабря 1758 г.»

Прошение это снабжено пометкой: «magister artium (магистр словесных наук) Эммануил Кант умоляет всеподданнейше Ваше Императорское Величество Всемилостивейше пожаловать ему освободившуюся кафедру логики и метафизики».

Судьба этого прошения довольно поучительна. В одно время с Кантом той же кафедры добивался некий приват-доцент Букк,

имевший перед Кантом преимущество старшинства по университетской службе. Кандидатуру Канта поддерживал его бывший учитель Шульц, который не без огорчения видел, что тот самый Кант, который некогда готовился в богословы и даже читал пробные проповеди, теперь окончательно уклонился в сторону физико-математических наук. По старой памяти Шульц любил Канта и искренне желал помочь ему; но прежде всего он решился выяснить некоторые мучившие его сомнения.

Шульц призвал к себе Канта, и как только молодой философ переступил его порог, спросил особо торжественным тоном: «Боитесь ли вы Бога от всего сердца?» Кант, нимало не ожидавший подобного вопроса, прямо взглянул в глаза ему и сказал: «Я не колеблюсь дать утвердительный ответ». Лишь после этого Шульц решился хлопотать за Канта, но и это не помогло. Генерал Корф поступил как настоящий солдафон. Он счел число лет преподавательской деятельности двух конкурентов и предпочел Канту ничтожного Букка.

Пять лет находились русские войска в Кенигсберге, и это пребывание не осталось бесследным в истории интеллектуального развития русских. Не следует забывать, что в то время вся русская интеллигенция несла военную службу, и в числе офицеров, попавших в Кенигсберг, были не одни кутилы, но и люди мыслящие. Стоит прочесть записки Болотова, чтобы убедиться в том, как много способствовало пребывание русских войск в прусских провинциях сближению русского общества с движением немецкой науки и философии. Между прочим, и Кант познакомился со многими русскими офицерами, и один из офицерских кружков предложил даже Канту читать для военных лекции по физике и физической географии. Вообще в это военное время Кант, потерпев неудачу со своим прошением, усиленно давал частные уроки по самым разнообразным предметам: он преподавал даже фортификацию и пиротехнику. В это же время Кант держал у себя на квартире несколько молодых дворян в качестве пансионеров.

Со вступлением на престол Петра III для Канта не сразу настали лучшие времена. Обстоятельства сложились так, что замена русского владычества прусским сперва принесла Канту мало пользы.

Немедленно по своем воцарении Петр III, как известно, возвратил Фридриху II все, что было отнято у него войсками Елизаветы. Кенигсбергский университет вновь стал подчиненным прусской администрации. Казалось, что король-философ, еще до начала Семилетней войны лишившийся Вольфа (Вольф умер в 1753 году), должен был обратить внимание на Канта, который

был, наконец, замечен Берлинской академией наук вот по какому поводу.

В 1762 году Кант написал сочинение на премию, предложенную Берлинской академией. Другим соискателем на ту же премию явился известный друг Лессинга, философ Мендельсон, инициатор так называемой «еврейской реформации» в Германии. Заданная академией тема касалась вопроса о философской очевидности.

Премию получил Мендельсон; сочинение Канта было признано из числа многих, представленных на конкурс, вторым по достоинству и напечатано без подписи Канта рядом с премированным трактатом Мендельсона. Во всяком случае, на Канта обратили внимание, и все были уверены, что он получит первую вакантную кафедру в Кенигсберге. Прусское правительство даже писало об этом кенигсбергским университетским властям. К несчастию для Канта, первая открывшаяся вакансия оказалась кафедрой пиитики. Помимо малого интереса, который вообще представляла эта кафедра для философа, она была соединена с совершенно не соответствовавшей склонностям Канта обязанностью цензора и юбилейного стихотворца. Профессор пиитики был обязан не только цензировать все добровольческие юбилейные излияния, но и писать стихи по случаю всех университетских празднеств, ко дню Рождества, ко дню коронации прусского короля и прочее.

Один из прусских министров, которому был поручен общий надзор за университетами, написал в Кенигсберг запрос, в котором сказано, что, по дошедшим до министерства сведениям, в Кенигсбергском университете находится некий магистр Кант, который, судя по некоторым его сочинениям, отличается весьма основательною ученостью. Министр желает узнать, имеет ли Кант необходимые дарования и склонность стать профессором пиитики? Кант отклонил предложенную ему должность, прося правительство иметь его в виду при более удобном случае.

Такой случай представился в 1766 году. Кант все еще не получил кафедры, но ему было, по крайней мере, предоставлено место помощника библиотекаря в королевской дворцовой библиотеке. Место это оплачивалось более чем скромным жалованием – 62 талера в год. В королевском приказе о назначении Канта сказано, что место это предоставляется «искусному и прославившемуся своими учеными сочинениями магистру Канту».

Лишь в 1770 году Кант, наконец, добился давно желанной цели. Еще в ноябре предшествующего года он получил приглашение на ординарную кафедру в Эрланген; в январе 1770

года его звали в Иену. Кант собирался уехать в Эрланген, но вскоре в самом Кенигсберге открылась вакансия на ту самую кафедру, которой он напрасно добивался в эпоху русского господства: его прежний конкурент Букк предпочел занять кафедру математики и уступил место Канту.

20 августа 1770 года был знаменательный день в жизни Канта. Канту было уже 46 лет; тем не менее, публичная защита сочинения, представленного им для получения профессорской кафедры, возбудила в нем юношеский пыл. Сочинение это было озаглавлено: «О форме и принципах чувственного и умственного мира». 1770 год во всех отношениях может считаться поворотным пунктом в жизни Канта. Перед ним открылось обширное поприще деятельности; и как раз в это время в уме Канта вырабатывались во вполне законченной форме начала его критической философии.

С этого времени деятельность Канта характеризуется следующим образом: он предпринимает величайшую реформу, когда-либо задуманную со времени возникновения новой философии, и, идя спокойным, медленным, обдуманным шагом, доводит ее до конца. С внешней стороны жизнь Канта с этих пор представляет мало замечательного. Он постепенно освобождается от механических занятий, вроде работы библиотекаря, и поднимается вверх по лестнице академических почестей, вступает сначала в университетский сенат, затем дважды кряду избирается на пост ректора университета и с 1792 года считается сеньором (старейшиной) философского факультета и всего университета. Что касается экономического положения Канта, оно остается всегда скромным, но, разумеется, о прежней нужде не может быть и речи. Наивысшее казенное жалованье, какое получал когда-либо Кант, не превышало 620 талеров в год; но, имея всегда значительное число слушателей, Кант получал порядочные гонорары от студентов, исключая бедных, которых сплошь и рядом он освобождал от всякой платы.

Профессорская деятельность Канта находилась в теснейшей связи с его философскими работами. По этой причине удобнее всего сделать параллельный обзор его чтений и появившихся в печати произведений.

Глава V

Профессорская и литературная деятельность. – Космическая гипотеза. – Защита оптимизма и борьба с мистицизмом. – Сведенборг. – Сновидения духовидца

По отзывам лиц, близко знавших Канта, он был в первые двадцать или двадцать пять лет своей профессорской деятельности превосходным лектором.

Первую свою лекцию Кант прочел, став приват-доцентом, еще осенью 1755 года. В то время он жил в доме профессора Кине, в части города, называемой Нейштадтом. В то время многие профессора читали у себя на дому, у Канта была своя обширная аудитория, в которой он раньше читал частным лицам. Студенты успели уже наслышаться об учености Канта; любопытство привлекло многих слушателей с разных факультетов. Аудитория была полна народу, даже в передней и на лестнице стояла огромная толпа студентов. Кант от непривычки к публичным чтениям смешался, даже потерял обычное присутствие духа; он и без того имел слабый голос: на этот раз Кант говорил еще тише обыкновенного, часто поправлялся и повторялся. Любопытно, однако, что именно эта застенчивость Канта еще более способствовала энтузиазму студентов, которые по немногому, сказанному Кантом, успели все-таки получить некоторое понятие о необычайной глубине его учености. Следующие лекции Канта оправдали первое впечатление, и на этот раз философ чувствовал себя уже вполне свободно и в своей сфере. Пока Кант был приват-доцентом, он продолжал читать в своей аудитории, кроме студентов, многим частным лицам, как, например, герцогу Гольштейн-Беккскому. По немецкому обычаю Кант подразделил свои лекции на публичные (которые обыкновенно читаются бесплатно – publice et gratis), приватные и приватнейшие. Читал он по самым разнообразным предметам, начиная с фортификации и кончая метафизикой. Логика, естественное право, мораль, физическая география были его главными предметами Кант не имел дурной привычки, свойственной плохим профессорам, читать по вызубренному тексту и даже по подробному конспекту. Он читал иногда по заметкам, сделанным на полях указанных им студентам учебников, – эти заметки заменяли для него подробный конспект – или же по самому сжатому конспекту, набросанному на полосках бумаги. Рекомендуя студентам учебник логики Мейера и «Метафизику» Баумгартена, Кант

пользовался лишь рубриками этих сочинений, часто указывая на несостоятельность тех или иных положений. Из приватных лекций Канта сравнительно популярными считались его чтения по логике. Кант постоянно говорил слушателям, что вовсе не задается целью научить их логике. «Я стараюсь научить вас методически мыслить», – говорил он. Особенно нравился студентам прием, к которому Кант прибегал, когда речь шла об определениях.

Он вел лекцию так, как будто искал истину, одинаково неизвестную его слушателям и ему самому. Сначала Кант как будто делал попытки дать определение, причем получал лишь первую грубую формулу; затем он постепенно исправлял ее, пока, наконец, не получалось вполне строгое и научное определение. Можно без всяких преувеличений сказать, что Кант старался ввести студентов в свою философскую «мастерскую», показывая им на деле, каким образом ищут истину. Внимательные слушатели Канта действительно учились многому; бывали, конечно, и такие, которые, по невниманию и нежеланию мыслить, хватались за самое первое указанное им определение, вписывали его в свои тетрадки и уходили домой, пропуская последующие лекции. Из таких странных слушателей вербовались впоследствии люди, для которых имя кантианца (ученика Канта) было лишь рекламой и которые бессовестно искажали идеи своего учителя. К счастью, такие ученики Канта составляли меньшинство; лишь в новейшее время опять развелось немало людей (особенно у нас в России), которых смело можно назвать лжекантианцами.

Наиболее трудными считались лекции Канта по метафизике. Сам Кант говорил, что читает этот предмет для студентов, получивших основательную подготовку; начинающим он рекомендовал слушать сначала профессора Першке.

Меньше всего посетителей имел Кант на своих лекциях по рациональному богословию, в которых он давал разумные объяснения разных вопросов религии. Не мешает, однако, заметить, что практически все, кто посещал эти лекции, впоследствии оказались замечательными богословами. Всего более слушателей было у Канта на лекциях по антропологии и физической географии. Кроме студентов, эти необычайно интересные и вполне популярные лекции посещались многими лицами; например, одним из усерднейших слушателей был тайный советник юстиции Моргенбессер. На публичных лекциях Канта, особенно в начале семестра, всегда присутствовала необычайно многолюдная публика.

Единственным недостатком Канта как лектора был его слабый голос. Зная это, слушатели сидели на его лекциях, не

шевелясь, стараясь не проронить ни слова и не шаркая ногами (по странному немецкому обычаю) при появлении запаздывающих. Да редко кто и запаздывал на лекции Канта.

Кант никогда не искал дешевой популярности и не любил пересыпать лекции не идущими к делу шуточками. Но он был по природе остроумен. Его шутку сравнивали с молнией, и такие блестки часто развлекали слушателей, возбуждая дружный смех, нарушавший обычное почтительное молчание.

Как сказано, Кант почти импровизировал свои лекции. Но он не мог переносить ничего, отвлекавшего в сторону его собственное сосредоточенное внимание. Малейшая перемена обстановки раздражала Канта и нередко даже влияла на качество его лекций. Чтобы вывести Канта из обычной колеи, требовалось немногое: для этого было достаточно, например, появления какого-нибудь студента в так называемом «гениальном костюме», то есть с растрепанной прической и без воротничка: так одевались в то время некоторые молодые люди, метившие в гении. Кант имел обыкновение во все время лекции устремлять взор на одного из студентов, сидевших на передней скамье. Однажды случилось так, что Кант избрал студента, у которого не хватало на сюртуке пуговицы. Этот пробел в костюме молодого человека до такой степени нарушил покой Канта, что он был крайне рассеян, сбивался и прочел совсем неудачную лекцию. Кант вообще не любил «пробелов». Он чувствовал нервное раздражение, когда видел, например, человека с неполным рядом зубов, и говорил, что когда видишь такого человека, то против воли стараешься смотреть на пустое место. Это замечание Кант внес даже в лекции по антропологии.

Кант внушал своим слушателям необычайное уважение. К нему нельзя было применить пословицу: «Никто не пророк в своем отечестве». Студенты обожали Канта и открыто выражали это при всяком удобном случае. О впечатлении, которое производили его лекции, можно судить по отзывам его первых биографов – Боровского и Яхманна, а также из слов знаменитого Гердера. Гердер прибыл в Кенигсберг в 1762 году и слушал Канта в течение трех лет. Свое первое посещение лекций Канта он описывал в восторженных выражениях, а вообще о Канте как профессоре писал впоследствии следующее:

> «Я имел счастье знать философа, который был моим учителем. В свои цветущие годы он был весел, как юноша, и таким, вероятно, остался до глубокой старости. Его открытый, созданный для мысли лоб выражал несокрушимое веселие и радость, его полная мысли речь

текла из уст, шутка и остроумие были в его распоряжении, его поучительные лекции имели характер интереснейшей беседы. С тем же умом, который он проявлял при исследовании систем Лейбница, Вольфа, Баумгартена, Крузиуса, Юма и при изложении законов Ньютона, Кеплера и физиков, он разбирал и появлявшиеся тогда сочинения Руссо, его „Эмиля“ и „Элоизу“, говорил о каждом новом открытии в области естествознания и постоянно возвращался к истинному познанию природы и к нравственному достоинству человека. История человека, народов и природы, естествознание и опыт были источниками, которыми он оживлял свою беседу; ничто достойное познания не было для него безразличным; никакая интрига, никакая секта, предрассудок или честолюбие не имели для него ни малейшей привлекательности и не заставляли его уклониться от расширения и разъяснения истины. Он ободрял и поощрял к самостоятельному мышлению; деспотизм был чужд его натуре».

Особенно воодушевлялся Кант, когда читал лекции, касавшиеся вопросов морали. Об этом пишет его биограф Яхманн, один из лучших учеников Канта:

«Когда речь шла о морали, Кант становился красноречивым оратором, увлекавшим ум и чувство. Часто он доводил нас до слез, поднимая дух из оков себялюбивого эвдемонизма до высокого самосознания чистой свободы воли, безусловно подчиненной законам разума и движимой высоким чувством бескорыстного подчинения долгу. В такие минуты казалось, что Кант был одушевлен небесным огнем. Его слушатели чувствовали себя нравственно очищенными».

Содержание лекций Канта было необычайно разнообразно. В общем они являлись комментарием и популярным изложением взглядов, развитых в его главных сочинениях. Вполне уместно поэтому перейти к обозрению литературной деятельности Канта.

Немецкие историки философии, например, Ибервег и Куно Фишер, подразделяют обыкновенно литературную деятельность Канта на два главных периода: докритический и критический. Куно Фишер, особенно подробно изучивший историю развития философской системы Канта, видит в ней следующие периоды: предварительный (натурфилософский), когда Кант стоял еще на рационалистической точке зрения; затем эмпирический,

вызванный влиянием Юма и вообще шотландской и английской философии; наконец, критический, когда Кант окончательно вступил на самостоятельный путь.

Такое подразделение на периоды представляет удобства для изложения, но при этом не следует забывать, что самостоятельное отношение Канта к господствовавшим до него философским школам обнаруживается во всех его сочинениях, начиная с самого раннего труда об измерении сил. Ходячая метафизика никогда не удовлетворяла его, что видно уже из сочинения Канта о физической монадологии, которую он противопоставил системе Лейбница. Точно так же самостоятельно отнесся Кант и к различным научным теориям, и почти в самом начале своего профессорского поприща построил гениальную космогонию (то есть учение об образовании Солнечной и других систем), в течение долгого времени неоцененную присяжными учеными, пока, наконец, открытия Гершеля и математические исследования Лапласа не послужили основанием систем, по существу тождественных с теорией Канта.

Неизвестно, в какой степени Лаплас воспользовался идеями Канта; известно только, что он выступил вполне самостоятельно, не упомянув о своем великом предшественнике. В настоящее время ученые всех стран, не исключая Франции, признали справедливость утверждения Гельмгольца, впервые подчеркнувшего поразительное сходство между гипотезами Канта и Лапласа. Появившиеся впоследствии космогонические гипотезы до сих пор не успели вытеснить той, которая была предложена Кантом.

Кант изложил свои космогонические взгляды в сочинении, озаглавленном: «Всеобщая естественная история и теория неба». Работа эта принадлежит к числу самых ранних произведений Канта. По некоторым данным можно утверждать, что план этого сочинения был задуман Кантом еще в то время, когда он писал об измерении действия сил. Затруднительные материальные обстоятельства задерживали печатание этого сочинения: оно появилось в печати лишь в 1755 году, как раз в то время, когда Кант стал приват-доцентом. Трактат Канта, составивший эпоху в истории физической астрономии, на первых порах остался незамеченным. Известный математик Ламберт, отличавшийся чрезвычайно оригинальным умом, ровно ничего не знал о работах Канта, когда писал свои «Космологические письма» (1761), несколько напоминающие гипотезу Канта. Знаменитое «Изложение системы мира», составленное Лапласом, относится к значительно более поздней эпохе (1796). Что касается работ Гершеля, то сам Кант приветствовал их как подтверждение своего

учения.

Кант сознавал трудность своей задачи. Ньютон открыл основной закон, позволяющий объяснить движения планет, и поэтому был основателем небесной механики; но он не задавался вопросом о *происхождении* Солнечной системы и принимал ее просто за данную величину. Не видя принципа, позволяющего объяснить те или иные отношения между массами и расстояниями планет, Ньютон утверждал, что эти отношения даны самим Божеством. Здесь начиналась задача Канта. Одна мысль о механической космогонии, о естественном объяснении происхождения Солнечной системы казалась в эпоху Канта чуть ли не еретическим посягательством на тайны Провидения. «Я вижу все трудности, – заявляет сам Кант, – но не впадаю в малодушие. Я чувствую всю силу препятствий, но не робею. Я предпринял опасное путешествие, руководствуясь слабой догадкой, но вижу уже предгорья новых стран».

Кант разбирает космогонии древних и новых философов и доказывает их несостоятельность. Эпикур выводит мироздание из случая; но говорить о «случайности» – значит просто указывать на недостаток знания о причинах события. Декарт не мог достичь ничего, потому что признавал лишь отталкивание и не знал о притяжении. «Теперь, – говорит Кант, исходя из начал Ньютона, – можно смело сказать, дайте мне материю, и я построю вам из нее целый мир».

Передавать содержание учения Канта мы не станем: оно излагается во всех учебниках физической астрономии. Напомним только, что сущность гипотезы Канта состоит в образовании систем, подобных Солнечной, из туманного вещества; причем происходит сгущение материи и рассеивание теплоты, образуется центральное светящееся тело, выделяющее кольца, из которых потом образуются планеты с их спутниками, и так далее.

Чтобы показать остроумие Канта в деле объяснения фактов и составления гипотез, достаточно одного примера. Одним из лучших доводов в пользу его теории был бы факт одинаковости состава Солнца и планет. «Если все планеты произошли из солнечной материи, – говорит Кант, – то следует полагать, что плотность Солнца приблизительно равна средней плотности всех планет, взятых вместе». По вычислению Бюффона, действительно оказалось, что искомое отношение плотности Солнца и совокупности планетных тел равно 64:65, то есть почти единице. «Этого одного факта достаточно, – заявляет Кант, – чтобы поднять настоящую теорию от уровня гипотезы до формальной достоверности».

О сочинениях, представленных Кантом в качестве

диссертаций, уже было сказано. С 1756 по 1770 год Кант написал ряд сочинений естественноисторического, антропологического и философского содержания. Известное лиссабонское землетрясение 1755 года, вызвавшее пессимистическое стихотворение Вольтера и пламенную отповедь со стороны Руссо, побудило и Канта написать три статьи о причинах землетрясений, появившиеся в газете «Кенигсбергские известия» и отдельным изданием. Несколько позже Кант написал свои соображения по теории ветров, причем объяснил происхождение пассатов и муссонов, указав на влияние вращения Земли. Кант подробно излагал ту же теорию в своих лекциях по физической географии, привлекавших массу слушателей. Он написал и род программы или конспекта по физической географии, замечательного в том отношении, что здесь Кант указал на огромное значение искусственного отбора в деле образования новых пород домашних животных. Некоторые выражения Канта настолько замечательны, что в них можно видеть неясное предчувствие теории естественного отбора, через сто лет выработанной Дарвином.

К тому же, к так называемому «докритическому» периоду литературной деятельности Канта относятся сочинения: «Об оптимизме» (1759) и «О мистицизме» (статьи 1763–1766 годов). На этих работах необходимо остановиться несколько подробнее, так как они характеризуют историю развития философских идей самого Канта.

Небольшая статья Канта «Об оптимизме» представляет весьма малый философский интерес, но зато важна в биографическом отношении. В своих позднейших философских умозрениях Кант значительно уклоняется от оптимизма лейбнице-вольфовской школы; в рассматриваемом трактате он, наоборот, является учеником Лейбница. Было бы поэтому крайне несправедливо и неосновательно считать трактат об оптимизме окончательным выражением идей Канта о человеческом счастье. Чтобы убедиться в противном, достаточно привести показания его первого биографа и близкого приятеля Боровского. За несколько лет до смерти Канта Боровский просил профессора дать ему экземпляр брошюры «Об оптимизме», чтобы отправить в Геттинген своему другу Планку. Кант с «торжественной серьезностью» ответил Боровскому: «Прошу вас более не упоминать об этом сочинении, никому его не давать и везде немедленно кассировать». Добряк Боровский никак не мог понять, откуда у Канта появилась такая ненависть к своему произведению. Это наивное заявление Боровского ясно доказывает, что он был не способен понять историю развития идей Канта.

В опыте «Об оптимизме» Кант стоит на совершенно метафизической почве, чем и объясняется позднейшее его отвращение к этому сочинению. Кант развивает идеи Лейбница о наилучшем из миров, только ход его доказательств несколько иной, чем у Лейбница. По словам Канта, Божество должно обладать идеей совершеннейшего мира. Утверждать противное, – значит допускать, что существует еще лучший мир, чем все миры, мыслимые Творцом. Но раз мы допустим, что Божество представляет себе наилучший мир, то нельзя допустить, чтобы оно предпочло худшее лучшему, и благость Творца противоречит утверждению, что Божество создало мир по произволу. Стало быть, Божество создало наилучший из возможных миров.

Но как примирить этот взгляд с эмпирическими данными, доказывающими, что в мире много несовершенства, несчастия и зла? Кант полагает, что нашел истинное опровержение, указывая на мир как на целое и утверждая, что благо целого является целью Творца, хотя бы оно было несовместимо с благом отдельных частей.

Нечего и говорить, что вся эта теория основана на ряде метафизических гипотез. Мы ничего не можем *знать* ни о представлениях Божества, ни о свойствах Божественной воли, ни о целях творческой силы. Что касается мира как целого, это совершенно условное и произвольное понятие. Мир тем шире для человека, чем обширнее его знания и чем глубже и сильнее его чувства. Если же под миром как целым подразумевать мир трансцендентный, стоящий вне сознания человека и вообще всех мыслящих существ, то об этом мире мы ровно ничего не можем знать. Все эти истины впоследствии были установлены самим Кантом, а вместе с тем рухнуло и основание его прежней оптимистической доктрины.

Гораздо ближе по духу к критической философии Канта упомянутые уже сочинения, направленные против мистицизма вообще и в частности против тогдашнего модного увлечения духовиденьем, ясновиденьем и тому подобными психопатическими явлениями, в то время еще не получившими названия спиритизма, но по существу дела тождественными этому заблуждению.

В 1763 году Кант написал письмо своей знакомой девице Шарлотте фон Кноблох, которая, подобно большинству тогдашних светских женщин, чрезвычайно интересовалась откровениями пресловутого шведского ясновидца и чудотворца Сведенборга. Сведенборг был уже чрезвычайно стар, но слава о нем продолжала греметь во всем европейском мире. Сведенборг был по профессии горный инженер, много путешествовал, сделал

несколько механических изобретений и написал ряд сочинений по математике, физике и минералогии. Затем он перешел к натурфилософии, писал о бесконечности и о целях мироздания; в конце концов впал в мистицизм и магию. Пятидесяти пяти лет от роду Сведенборг, выражаясь языком современных спиритов, стал медиумом, или духовидцем, ему начал являться Христос, он стал слышать небесные откровения, толковал по-своему Священное Писание и пророчил появление «нового Иерусалима или апокалиптической церкви», учение Сведенборга особенно распространилось на его родине, в Швеции, но также в Англии и ее американских колониях. В течение 1749– 56 годов восемь томов его «Небесных тайн» были напечатаны в Лондоне.

О Сведенборге рассказывали гораздо большие чудеса, чем о нынешних медиумах, чудотворцах и русских, и западных. По обыкновению, все эти чудеса подтверждались самыми достоверными свидетелями. Для Сведенборга не существовало ни времени, ни пространства, он видел отдаленное и сокровенное, был как у себя дома в царстве мертвецов и привидений, которые помогали даже при уплате векселей его клиентам. Ювелир Кроон в Стокгольме сделал серебряный сервиз по заказу голландского посланника Мартевилля. Посланник умер; жена его была уверена, что счет уплачен, но ювелир требовал платы, ссылаясь на то, что вдова не могла предъявить расписки. На помощь вдове явился Сведенборг, по всей вероятности, знавший, при помощи подкупленных слуг, где находится знаменитая расписка. Ясновидец вызвал дух покойного посланника, который указал ему, что расписка спрятана в потайном ящике шкапа, находившегося в верхней комнате, и ювелир был пристыжен, а слава духовидца увеличилась.

Об этом происшествии узнала шведская королева Луиза-Ульрика, сестра Фридриха Великого, отличавшаяся, подобно брату, несколько философскими наклонностями и некоторым скептицизмом. Желая испытать Сведенборга, она предложила ему вопрос, касавшийся чрезвычайно интимной стороны ее жизни. Королева была уверена, что, кроме нее самой, никто не знал ее тайны. Неизвестно, обладал ли Сведенборг действительным искусством «чтения мыслей», или и в этом случае ему помогли люди, знающие чужие секреты, но он дал королеве вполне правильный ответ, чрезвычайно ее изумивший. Королева сообщила об этом новом чуде нескольким иностранным посланникам. С тех пор Сведенборг официально стал чудом света. Это было за два года до переписки Канта с девицею фон Кноблох.

Кант был слишком осторожным и чересчур добросовестным мыслителем для того, чтобы осудить кого бы то ни было, хотя бы

Сведенборга, не собрав достаточного материала. В своем письме к девице фон Кноблох он ограничился поэтому документальной передачей того, что успел узнать о Сведенборге, и немногими замечаниями в том смысле, что до поры до времени он воздерживается от окончательного суждения. «В подобном щекотливом вопросе, – говорит Кант, – нельзя ничего сказать без исследования дела. По всему видно, что в явлениях, вроде тех, какие приписывают Сведенборгу, весьма важную роль играет обман». Собственно о Сведенборге Кант не берется утверждать, что имеет дело с обманщиком. «В пользу Сведенборга говорят свидетели, заслуживающие такого доверия, что им трудно не поверить; но сам я, – говорит Кант, – все-таки обладаю недостаточными сведениями, а поэтому ожидаю более точных и с нетерпением жду появления книги, печатаемой Сведенборгом в Лондоне».

Из этого письма видно только одно: что Кант, как и всякий добросовестный мыслитель, не составил себе предвзятого мнения о влияниях, по-видимому, необъяснимых, но прежде всего старался познакомиться с делом из первых рук. С этою целью Кант не только вошел в сношения с выдающимися сведенборгианцами, но и обратился с вопросами к самому Сведенборгу. Письмо Канта осталось, однако, без ответа; Сведенборг заявил после того, что на все предлагаемые ему вопросы он ответит в своем лондонском труде. Понятно нетерпение, с которым Кант ждал этого ответа, но совершенно непонятно, каким образом последователи Сведенборга и их преемники – спириты – вывели из всей этой истории заключение, будто Кант стал приверженцем Сведенборга. Это лишь одно из многочисленных доказательств недобросовестности мистиков, хвастающих тем, что они одни обладают будто бы знанием абсолютной истины.

С большим трудом достал наконец Кант пресловутые «Небесные тайны», которые стоили весьма дорого, но не в моральном смысле, так как за откровения Сведенборга с покупателей книги взималась весьма высокая сумма. Книга эта в одном только отношении принесла пользу Канту, который и раньше не отличался склонностью к мистицизму. Она внушила ему непобедимое отвращение ко всем мистическим откровениям. Плодом чтения объемистого творения Сведенборга была философская сатира Канта, знаменующая собою не только презрение к мистицизму, но и окончательный разрыв с туманным догматизмом Вольфа. Сатира озаглавлена: «Сновидения духовидца, поясненные сновидениями метафизики». Из одного этого заглавия видно, что речь идет о параллели между

суевериями мистиков и заблуждениями метафизики. Это сочинение Канта стоит особняком от всех прочих его произведений. Оно блещет юмором и пересыпано шутками, какие мы не привыкли встречать у Канта. Очевидно, что Кант, преследуя серьезную цель – уничтожение мистического настроения, свойственного многим его современникам, – оценил, однако, по достоинству откровения Сведенборга и не мог отнестись к ним как к серьезному философскому учению, стоящему тяжеловесной полемики.

В легкой и шутливой форме Кант высказывает, однако, весьма серьезные мысли, и его возражения духовидцам отличаются беспощадной логичностью. В этом сочинении Кант уже не имеет ничего общего с немецкой метафизикой. Оно написано в 1766 году, стало быть, за четыре года до 1770 года, считаемого обыкновенно поворотным пунктом в истории его философского развития. Мы видели, что в 1759 году Кант писал об оптимизме еще в чисто метафизическом духе; в 1763 году он пытался дать новые физико-теологические доказательства в пользу бытия Божия. В 1764 году Кант впервые основательно знакомится с Руссо и необычайно увлекается им. Два года спустя он борется с мистицизмом и с метафизикой. Сопоставление этих данных показывает, что первый решительный поворот, определивший дальнейшую философскую деятельность Канта, должен быть отнесен к середине шестидесятых годов восемнадцатого века и произошел вследствие единовременного влияния на Канта сочинений Руссо и философских произведений Юма. Первые повлияли на его чувство и на его моральное учение, вторые подготовили теоретические работы Канта.

В рассматриваемой нами философской сатире Канта уже ясно сказываются следы поворота. Немецких метафизиков Кант называет здесь «воздушными строителями (Luftbaumeister), сооружающими исключительно мысленные миры». По словам Канта, Вольф построил мировой порядок, «взяв немножко опыта, но гораздо более – подтасованных понятий». Что касается противника Вольфа, благочестивого Крузия, он создал мир из ничего посредством магической силы фраз о мыслимом и немыслимом. Нечего удивляться тому, что эти господа противоречат друг другу. Надо подождать, пока противники выспятся и проснутся. Придет время, когда философия станет такой же точной наукой, как математика. Немецкая метафизика ничем не лучше сновидений духовидцев.

Обращаясь к вопросу о духовидении, Кант ставит его ребром. Прежде всего необходимо узнать, существуют ли вообще духи, которых мы так или иначе в состоянии познать? Для того чтобы

духи могли быть познаваемы, они должны существовать в форме, доступной нашему познанию, то есть должны иметь отношение к телесному миру, должны пребывать и проявлять свою деятельность в пространстве. С другой стороны, однако, духи нематериальны, не должны иметь ни протяжения, ни фигуры, стало быть, не должны наполнять пространства. Каким образом возможны существа, занимающие пространство, не наполняя его, пространственные и в то же время непространственные?

На этот вопрос, более ста лет тому заданный Кантом, конечно, не сумеет ответить ни один из современных спиритов. Если спириты укажут на так называемую «материализацию духов», то этим лишь увеличат путаницу, потому что возникнет новый вопрос: каким образом нематериальное может стать материальным? Что касается вопроса о пространственных отношениях духов, спириты, как известно, нашли лазейку при помощи «четвертого измерения». Но эта увертка с их стороны показывает лишь грубое непонимание математического обобщения, позволяющего рассуждать не только о четырех, но и о любом числе измерений, причем, однако, ни одному математику не придет в голову отрицать, что объем имеет три измерения, поверхность – два, а длина – лишь одно измерение и что законы движения и проникновения тел подчиняются геометрии и механике, а не капризам материализованных духов. Но вернемся к Канту. Кант озаглавливает одну из глав своей сатиры: «Метафизический узел, который можно по произволу распутать или разрубить». Здесь Кант становится уже вполне определенно на критическую точку зрения, отвергая возможность познать связь между духом и телом и уничтожая незаконные притязания так называемой рациональной, то есть спиритуалистической психологии. Кант иронически называет спиритуализм лейбниц-вольфовской школы «тайною философией, открывающей способы общения с духовным миром» и чрезвычайно остроумно доказывает, что метафизический спиритуализм – родной брат духовидения. Тот, кто воображает, что природа есть лестница, на которой расположены духовные существа, обладающие разной степенью духовности, легко приходит к мысли, что все есть дух, а стало быть, без всякого затруднения допускает общение с духами. От общения духа с телом следует отличать общение духов между собою. Но и этот вопрос Кант решает не в спиритуалистическом, а в эмпирическом и моральном смысле. Существует два рода общения между духами: моральное и мистическое. Первое имеет своим источником нравственное чувство: это путь, избранный английскими философами и Руссо. Источником второго является сверхъестественное ясновидение: это путь, указанный

Сведенборгом и вполне аналогичный умозрениям лейбниц-вольфовской школы.

Все разумные существа чувствуют стремление к общению; это взаимное стремление Кант сравнивает с всемирным тяготением. В мире духовном любовь – то же, что тяготение в мире материальном. Руссо дополнил Ньютона. Все мы как духовные существа чувствуем себя зависящими от «правила всеобщей воли, и в мире мыслящих существ это чувство порождает „моральное единство“ и систему отношений, подчиняющихся единственно духовным законам». Ньютон исследовал закон о взаимодействии материи и отделил математический вопрос от несносных философских споров о причине тяготения; нельзя ли, спрашивает Кант, найти и в моральном мире аналогичное общее начало? Нельзя ли счесть нравственное чувство сознанием зависимости частной воли от общей воли и следствием взаимного влияния, посредством которого нравственный мир достигает единства?

Здесь очевидно влияние идей Руссо. Кант лишь несколько углубляет их, стараясь найти психологическую основу вместо той морально-юридической, которая господствует в воззрениях женевского философа.

Зато спиритуалистические воззрения на духовное существование отбрасываются Кантом окончательно как иллюзия, близкая к сновидению. Духи не могут быть ощущаемы и воспринимаемы, мы не можем ни видеть их, ни слышать; поэтому все «духовные явления» в смысле появления духов или призраков не более как продукты воображения. Духовные представления могут приобретать такую живость и яркость, что фантазия превращает их в чувственные образы, которые наконец могут даже одержать верх над образами, получаемыми от впечатлений внешнего мира. В этом – источник всех сновидений, иллюзий и патологических расстройств воображения.

Когда плод воображения превращается в предмет чувств, его сплетения становятся призраками. Духовидцы – не что иное, как бодрствующие сновидцы, у спящего притуплены внешние чувства, но воображение работает; у духовидца объекты внешних чувств перемешиваются с созданиями воображения. Еще Аристотель понял истинное различие между сном и действительностью. «Когда мы бодрствуем, – сказал он, – у всех нас (разумных людей) – один общий мир; когда мы спим, у каждого образуется свой собственный». Кант оборачивает это предложение и говорит: «Если из различных людей каждый имеет свой собственный мир, то можно предполагать, что все они спят и видят сны». Общий мир есть мир чувств, область опыта, недоступная для призраков. Если мы считаем продукты нашего воображения образами, если

мы превращаем внутренние восприятия во внешние, это значит, что мы имеем «сновидения чувств». Сверх того бывают еще «сновидения разума», состоящие в том, что мы принимаем создания нашего разума за реальности, идеи – за действительность. Это участь всех метафизиков.

Обращаясь специально к духовидцам и к Сведенборгу, Кант говорит:

> «Представим себе, что, вследствие повреждения мозга движения в нервах происходят по таким направлениям, которые скрещиваются вне мозга. Тогда, соответственно с этим, образуется мнимый фокус от мыслящего субъекта, и образ, бывший плодом простого воображения, представляется как предмет внешних чувств. Поэтому я не посетую на читателя, если он, вместо того, чтобы отнестись к духовидцам как к полугражданам того света, взглянет на них просто как на кандидатов в госпиталь».

Чтение творений Сведенборга, как видно, сильно раздражило Канта, думавшего найти в них хоть каплю смысла, но в конце чтения убедившегося, что труд его потерян. Этим объясняются резкие и даже банальные выходки философа, который в конце концов заявляет, что духовидцев надо лечить слабительными средствами.

> «Было время, – говорит он, – когда чародеев сжигали, теперь достаточно будет *очищать* их. Я полагаю, что причины расстройства скрываются не так глубоко, как думают. Если во внутренностях свирепствует ипохондрический ветер, он может принять одно из двух направлений: либо вверх – тогда получаются явления духовидения, либо вниз – тогда выходит нечто иное».

Это чуть ли не единственное место в сочинениях Канта, которое скорее уместно в сатире Свифта или в романах Смоллета, чем в философском трактате.

Самого Сведенборга Кант называет «архидуховидцем и архифантазером», а об его чудесах, после тщательной проверки всех показаний, говорит, что поверить таким вещам может лишь тот, кто не боится стать посмешищем.

Глава VI

Обыденная жизнь и характер Канта. – Гигиена. – Общительность. – Взгляд на женщину. – Почему Кант не женился. – Домашняя обстановка. – Дружба после вызова на дуэль. – Слуга великого человека. – Правила Канта. – Его правдивость

Вся жизнь Канта была применением его философских принципов, развитых в «Критике чистого разума». Трудно найти другого философа, у которого слово до такой степени согласовалось бы с делом, как у Канта. Из философов древности его можно поставить рядом с Сократом. Кант был не кабинетным мыслителем, а мудрецом в полном смысле этого слова. Все, начиная с гигиены и оканчивая глубочайшими нравственными вопросами, согласовалось у него с принципами разума; вот почему философия и жизнь у Канта составляли одно нераздельное целое.

Кант не принадлежал к числу людей, считающих чувственные удовольствия главной целью жизни; но он высоко ценил физическое здоровье как необходимое условие бодрости духа. Кант тем более имел права дорожить этим благом, что был, в буквальном смысле слова, главным виновником относительного физического благосостояния, которым пользовался в зрелые годы и до глубокой старости. Природа не наделила Канта ни атлетическим сложением, ни вполне нормальными органами. Он был мал ростом – по словам Яхманна, менее пяти футов, – имел узкую и чрезвычайно впалую грудь, и правое плечо его было сложено неправильно: лопатка слишком выдавалась назад.

Мускулатура его отличалась слабостью; Кант был до того сухощав, что портные постоянно ошибались в покрое его платья, и добродушный философ сам нередко говорил, шутя, что он отличается от других людей отсутствием икр. Нервы его были чрезвычайно деликатны, дыхание слабое; он сильно чихал от одного запаха свежей типографской краски при чтении утренней газеты.

Внешне Кант был симпатичен. Благодаря строгому гигиеническому образу жизни он в зрелых летах не имел болезненного вида. Это был блондин с румяными щеками – румянец сохранился у Канта до старости – и серовато-голубыми глазами. Кант почему-то был очень доволен цветом своих глаз.

Автор «Критики чистого разума» никогда не говорил о своих

умственных или нравственных качествах, но чрезвычайно охотно распространялся о своей физической организации. Благодаря разумному образу жизни он никогда не был болен, хотя, по его собственному признанию, почти никогда не был и вполне здоров. Он страдал главным образом затруднением пищеварения и головными болями – очевидные последствия сидячей жизни и упорного умственного труда.

Когда доктор Яхманн (брат биографа) указал Канту на первые признаки приближающегося маразма (старческого бессилия), Кант вспылил и сказал с гневом: «Поверьте, что я из-за этого не застрелюсь!»

Кант выработал для себя правила гигиенической жизни путем терпеливых наблюдений над своим организмом.

В молодые годы он нередко менял образ жизни, испытывая, что лучше; но, выработав известные правила, держался их со строгостью, которую можно принять за мелочный педантизм, если не вникнуть в дело. Действительно, лишь благодаря необычайно точному распределению времени и поразительно правильному образу жизни Кант мог дожить до глубокой старости и, за исключением последних трех-четырех лет, нимало не утрачивал силы и свежести ума.

Правильный образ жизни Канта вошел в пословицу. Даже среди аккуратных и точных немцев он казался чудом аккуратности. Кант вставал всегда в пять часов утра как летом, так и зимою. В три четверти пятого его старый слуга будил барина; причем, по приказанию Канта, был неумолим и не отставал до тех пор, пока не убеждался, что барин не заснет снова. Кант считал одним из главных правил своей гигиены спать не более, но и не менее семи часов; причем ложился спать всегда ровно в десять вечера. Каждый день он распределял совершенно одинаково. Встав с постели, Кант облекался в шлафрок и надевал сверх колпака маленькую треугольную шляпу. В этом виде он направлялся в свой рабочий кабинет. Проработав до семи часов утра, он одевался и отправлялся в аудиторию; после чтения лекций возвращался в кабинет, снова облекаясь в халат и туфли, и работал до трех четвертей первого, никогда не больше, но и не меньше; затем одевался к обеду. Обед для Канта был также главным временем беседы с гостями: он никогда не обедал один, просиживал за столом несколько часов, много ел, но еще больше разговаривал. После обеда, если погода была хорошей, он отправлялся гулять – большей частью один, но иногда и в компании. Во время одиночных прогулок Кант нередко обдумывал самые глубокие из своих идей. В подобных случаях он первоначально гулял по так называемой «философской дороге»;

но это подметили нищие и попрошайки, в те времена изобиловавшие в Кенигсберге. Их приставанье сильно надоело Канту, и он стал гулять в королевском саду. Во время прогулок, особенно если это было зимою или осенью, Кант также строго соблюдал правила гигиены. Он шел медленно, чтобы не вызвать испарины, и, если дул свежий ветер, старался гулять один, чтобы не разговаривать, так как считал одним из главных правил гигиены дышать холодным воздухом лишь через ноздри. В своих лекциях по антропологии Кант указывал, что даже дикари знают это гигиеническое правило, нередко забываемое людьми цивилизованными.

Если не считать нескольких чашек весьма слабого чая, то можно сказать, что Кант ел лишь раз в день, то есть за обедом, причем довольствовался тремя сытными блюдами, к которым добавлял сыр или фрукты. К немалому удивлению своих соотечественников, Кант никогда не пил пива, довольствуясь главным образом водою и незначительным количеством вина: полбутылки медоку было его обычной порцией. О пиве Кант говорил: «Это не напиток, а пища дурного качества». Чтобы не выпить по рассеянности больше вина, чем следует, особенно если он обедал не у себя дома, Кант принял за правило наливать себе всегда не более четверти стакана и почти автоматически вел счет этим порциям.

Кант не был гурманом, то есть не гонялся за изысканными блюдами, но любил, чтобы простая пища была вкусно и хорошо приготовлена. В этом смысле его признавали знатоком; кенигсбергские дамы охотно угощали его как человека, понимающего толк, и в то же время боялись его критики. Один из приятелей Канта сказал однажды философу: «Вы могли бы с большим успехом написать критику чистого поварского искусства». Придавая поваренному делу главным образом гигиеническое значение, Кант часто говорил, что напрасно некоторые дамы считают это дело ниже своего достоинства. Общее образование, говорил он, необходимо женщине, но необходимы и специальные знания, соответствующие обязанности матери и хозяйки.

– Вы, кажется, считаете нас всех только кухарками, – сказала однажды Канту одна дама, обиженная тем, что философ все время беседовал с нею о способе приготовления кушаний.

– Нисколько, – ответил Кант, – но я желал бы, чтобы самое искусство кухарки было поставлено серьезнее. Следовало бы, чтобы молодым девицам преподавали поварское искусство ученые повара, точно так же, как танцмейстеры преподают им танцы; первое даже важнее последнего.

Кант находил, что бренчанье на фортепиано и пение сентиментальных романсов нисколько не выше кулинарного дела. «Мне кажется, – говорил он, – что всякий муж предпочтет хорошее блюдо без музыки, чем музыку без хорошего блюда». Узнав, что в Шотландии девицы из лучших семейств действительно берут у поваров уроки поваренного искусства, Кант остался чрезвычайно доволен этим. Вообще во взглядах Канта на роль женщины в семье нельзя не видеть смешения некоторых вполне верных мнений с теми, которые он вынес из немецкой мещанской среды: иногда он поэтому перегибал палку. Кант питал антипатию к амазонкам и синим чулкам. Одна дама, считавшая себя весьма ученою, надоела философу своими вопросами о его системе. Кант долго старался перевести разговор на другие темы. Наконец дама заметила это и сказала:

– Разве вы думаете, что дамы не способны философски размышлять?

– Ах, да, конечно… – сказал Кант, и по тону его собеседница поняла, что Кант оценил ее по достоинству.

В данном случае он был, вероятно, прав; но вообще нельзя не заметить, что Кант отстал в этом отношении от Лейбница, необычайно охотно беседовавшего с образованными женщинами о философских предметах, и последний едва ли проиграл от своих бесед с королевой Софией-Шарлоттой. К сожалению, Кант не встретил в своем кенигсбергском захолустье ни одной подобной женщины; а что он был способен к увлечению женским умом и характером, доказывают его чрезвычайно сердечные отношения к графине Кайзерлинг и ее дочери, впоследствии по мужу фон дер Рекке. Эта последняя пишет о Канте:

> «Я не знаю его по его сочинениям: его метафизические умозрения стоят за пределами моего понимания. Но я обязана этому знаменитому человеку многими прекрасными умными беседами. Ежедневно приходилось мне разговаривать с этим другом нашего дома, который был чрезвычайно любезным и приятным собеседником… Часто он беседовал так мило, что никогда нельзя было бы заподозрить в нем глубокого отвлеченного мыслителя, совершившего подобный переворот в философии. Беседуя в обществе, он умел нередко облекать даже отвлеченнейшие идеи в прекрасную форму; каждое свое мнение он излагал необычайно ясно. Он увлекательно острил, и беседа его была часто приправлена легкой сатирой, причем он умел острить, сохраняя невозмутимый вид и полную

непринужденность».

По этому показанию можно судить, что не всех женщин Кант считал кухарками или же синими чулками и что не его вина, если в кенигсбергском обществе было мало женщин, подобных графине Кайзерлинг и Элизе фон Рекке. Это упускают из виду многие, слишком строго осуждающие Канта за его взгляды на женщин и забывающие, что этот философ делал выводы из окружавшей его действительности. Для дальнейшей характеристики взглядов Канта на женщину необходимо привести его суждение о взглядах Руссо. Известно, что пламенный защитник прав природы и человека отнесся несколько свысока к женщине, которая для него, как и для большинства современных швейцарцев и французов, была скорее цветком, чем серьезной подругою жизни. Нельзя сказать, чтобы Кант одобрил этот взгляд. Любезничанье с женщинами, – писал Кант в своем сочинении о прекрасном и возвышенном, – есть специальность французов и основа их искусства жить. Обыкновенно любезничают только с детьми. Руссо сказал, что женщина никогда не станет ничем большим, чем взрослым ребенком. «Это дерзкое выражение, – говорит Кант, – и я ни за какую цену не решился бы высказать его; но, чтобы понять слова Руссо, надо помнить, что они написаны во Франции». Кант утверждает, что женщины должны действовать на мужчин облагораживающим образом; но во Франции сами женщины предпочитают любезничанье труду. «Жаль, – говорит Кант, – что лилии не прядут».[1] Кант не был женат и долгое время полагали, что он никогда не был влюблен. Поверить этому было бы трудно даже в том случае, если бы мы не имели положительного свидетельства одного из самых достоверных биографов Канта в пользу противного. Биограф этот не берется ничего сказать о молодости Канта, ограничиваясь замечанием: «Судя по темпераменту, он, вероятно, был влюблен»; зато категорично утверждает, что в зрелых летах Кант был влюблен и даже два раза. «Я не называю имен, – говорит этот биограф, – потому что для кого это важно?» Легко допустить, что и в молодости Кант увлекался, но, как человек чрезвычайно добросовестный, не решался составить семьи, пока сам находился в материальной зависимости от родственников. Что касается вопроса, почему Кант и впоследствии остался холостяком, это объясняется самым удовлетворительным образом. В ранней молодости Кант был очень застенчив с женщинами; с летами это прошло в обыденных случаях, но в вопросе настолько щекотливом, каково объяснение в любви, он остался крайне нерешительным, и, по словам биографа, одна из возлюбленных

Канта уехала, так и не узнав о его страсти, а другая, видя его колебания и нерешительность, предпочла более энергичного и смелого соискателя. Постепенно Кант втянулся в одинокую жизнь холостяка, и на старости у него образовалось совершенно рассудочное, можно сказать, даже чересчур прозаичное отношение к браку. Задолго до Шопенгауэра (который и в этом, как во многих других отношениях, утрировал идеи Канта) Кант провозгласил, что истинной подоплекой всякой любви к женщине является половое влечение. В трактате «О прекрасном и возвышенном» мы читаем буквально:

> «Все очарование, которое оказывает на нас прекрасный пол, в основе является распространенным половым влечением. Природа преследует свою великую цель, и все тонкости, которые сюда присоединяются, и на первый взгляд, весьма далеки от полового инстинкта, в конце концов являются лишь его подкрашиванием и вся их прелесть заимствована из того же источника».

Но Кант далек от выводов, сделанных из этого впоследствии Шопенгауэром. Хотя половой инстинкт – чувство весьма грубое, но «презирать его», по словам Канта, нет ни малейшего основания, потому что этот инстинкт делает возможным самое удобное и правильное охранение порядка природы. Философ нимало не отрицает и того, что высшие формы любви отличаются от низших, хотя и имеют общий с ними источник. Любовь, основанная *только* на половом влечении, по его словам, легко вырождается в разнузданность и распущенность, потому что «огонь, зажженный в нас одной особой, весьма легко может быть погашен другою».

Что сам Кант был далеко не равнодушен к женской красоте, в этом убеждают многие показания. Помимо всякой любви, он охотно видел красивые женские лица, относясь к ним с чисто эстетической точки зрения. Даже семидесяти лет от роду, когда один его глаз был поражен болезнью, Кант, обедая по воскресеньям в доме своего приятеля, английского купца Мотерби, любил смотреть на хорошеньких женщин и постоянно сажал подле себя за обедом, со стороны здорового глаза, красавицу мисс А., причем вполне откровенно объяснял, что, смотря на нее, испытывает большое удовольствие.

Когда Кант был уже далеко не первой молодости, один добродушный пастор ни с того ни с сего вздумал сватать его к какой-то девице. Для лучшего успеха этот священник написал и издал за свой счет брошюрку, озаглавленную «Рафаил и Товия», назидательно-религиозного содержания, на тему «нехорошо

человеку быть одному».

Кант был крайне озадачен и брошюрой, и неожиданным предложением пастора; в конце концов он ограничился тем, что уплатил по счету типографии, возвратив пастору его расходы. Впоследствии Кант любил рассказывать этот эпизод своим застольным собеседникам, много шутил по этому поводу и смеялся, вспоминая, как его чуть не женили.

Впрочем, Кант, в свою очередь, иногда любил играть роль свата. В этих случаях он всегда руководствовался практическими соображениями, советуя молодым людям «благоразумие» в выборе невесты.

Вообще жизнь холостяка наложила на Канта известный отпечаток: когда читаешь рассказы его биографов, иногда кажется, что речь идет об одном из добродушных типов, изображенных Диккенсом. Добродушие Канта и его заботливость о непричинении кому-либо вреда нередко граничили с комизмом. Однажды его слуга Лампе во время обеда разбил стакан. Опасаясь, чтобы кто-либо из гостей или сам Лампе не порезал себе ногу, Кант велел слуге немедленно собрать все кусочки. Но тут ему пришло на ум, что, во-первых, слуга, собирая куски стекла, может по неосторожности поранить себе руку; во-вторых, по халатности не соберет всех кусков. Поэтому Кант сам тщательно собрал все в бумажку. По окончании обеда Кант встал и сказал своим гостям: «Ну, господа, теперь пойдем в сад и сами закопаем это стекло. Я не могу доверить этого слуге». Взяв лопату, Кант вышел в сад; гости за ним. Тут явилось новое затруднение. Где закопать стекло так, чтобы оно никому не причинило вреда? После долгого обдумывания Кант наконец решил этот трудный вопрос.

Обстановка у Канта была весьма скромной. Всего требовательнее он относился к местоположению своего рабочего кабинета. Немало трудов стоило Канту устроиться сколько-нибудь удобно. Потребность в крайне сосредоточенном мышлении сделала Канта чрезвычайно требовательным. Он не выносил никакого шума или резких звуков, способных нарушить его покой во время занятий; поэтому, при всем своем консерватизме относительно привычек, Кант часто менял квартиру. Сначала он жил на берегу реки: здесь ему мешали крики польских лодочников. Другую квартиру Канту пришлось оставить потому, что у его соседа был несносный петух, своим криком мешавший философу. Кант предлагал соседу за петуха какую угодно сумму, но тот упорствовал, и дело кончилось переездом Канта на другую квартиру. Наконец, в 1783 году Канту удалось на сделанные сбережения купить маленький, скромный

домик; но и здесь его покой оказался не вполне обеспеченным. Недалеко от домика Канта находилась городская тюрьма. Для нравственного исправления арестантов было придумано средство в чисто протестантском духе: они должны были несколько часов кряду петь псалмы. Громкое нестройное пение при открытых окнах тюрьмы сильно раздражало Канта. Долго терпел он, наконец написал письмо первому бургомистру, своему приятелю Гиппелю, прося его принять меры «для прекращения скандала». Письмо Канта довольно курьезно. Он пишет, что просит от своего имени и от имени других жителей этого квартала придумать меры против «громогласного благочестия этих ханжей». «Не думаю, – пишет Кант, – чтобы они имели повод жаловаться и утверждать, что их души находятся в опасности, если их голоса во время пения будут умерены тем, что они станут петь при закрытых окнах, да и в этом случае им не следовало бы кричать изо всех сил. Все равно сторож выдаст им свидетельство, о котором собственно они и хлопочут, и там будет сказано, что они весьма богобоязненны; их услышат и в том случае, если они перестанут будить своим ревом набожных граждан нашего доброго города». Просьба Канта была уважена, но тут явилась новая беда. По соседству постоянно играли танцы, и эта игра порою выводила философа из терпения. В конце концов Кант вообще невзлюбил музыку и часто называл ее несносным искусством, которое умудрилось внести элемент назойливости в саму эстетику. Впрочем, Кант охотно посещал концерты всех приезжавших в Кенигсберг знаменитостей.

Стараясь углубиться в свои размышления, Кант часто во время сумерек устремлял взор на какой-либо отдаленный предмет, большей частью на Лёбенихтскую башню. С течением времени перед башнею выросли тополя в саду соседа, настолько высокие, что листья их прикрыли башню. Эта перемена стала беспокоить Канта, и он до тех пор упрашивал соседа, пока тот не приказал обрубить верхушки своих тополей.

Купив собственный домик, Кант устроился в нем просто, но уютно. Меблировка его комнат была необычайно скромной. Единственным украшением кабинета был портрет его любимого автора Руссо. Насколько Кант увлекался чтением Руссо, видно из того, что ради произведений женевского философа он нарушил порядок своей жизни. Когда появился «Эмиль», Кант забыл свое распределение времени и читал запоем до поздней ночи. Кант знал главные сочинения Руссо почти наизусть и часто цитировал их в устном преподавании. Само собою разумеется, что такой мощный, оригинальный и в то же время методический и спокойный ум, каков был у Канта, не мог всецело подчиниться

влиянию пламенной, но нередко парадоксальной проповеди Руссо; одно несомненно, что протест последнего против современной цивилизации способствовал развитию взглядов Канта не в меньшей мере, чем логичный, но сравнительно холодный скептицизм Юма. Быть может, контраст натуры Руссо с его собственною особенно привлекал Канта, у которого ум преобладал над чувством в такой же мере, в какой у Руссо сердце господствовало над логикой. Контраст этот проявляется во всем. Насколько Руссо был неуживчив и нелюдим, настолько же Кант отличался уживчивостью, уменьем поддерживать общественные отношения, приветливостью и гостеприимством. Он не искал большого общества, но любил, чтобы число гостей за столом достигало числа муз. Кант особенно дружил с несколькими английскими семействами. Самым оригинальным из его друзей был английский купец Грин. О знакомстве Канта с Грином сохранился рассказ, в точности которого сомневались некоторые биографы; по нашему мнению, рассказ этот, несомненно, имеет историческую основу, лишь эпоха несколько перепутана. За несколько лет до начала войны между Англией и ее американскими колониями, впоследствии образовавшими Соединенные Штаты, отношения были уже крайне натянуты, и в торговом городе, каковым являлся Кенигсберг, носились, конечно, слухи о возможных столкновениях. Кант был горячим поборником свободы и открыто выражал свои мнения, порицая деспотические действия английского правительства. Однажды он, гуляя в Дёнгофском саду, встретил нескольких знакомых и незнакомых людей, беседовавших об американских делах, и резко выразился о действиях Англии. Находившийся в числе собеседников англичанин Грин, не знавший Канта, почувствовав себя оскорбленным в своем британском патриотизме, ответил Канту в резких выражениях и наконец вызвал его на дуэль, требуя кровавого удовлетворения. Кант, нимало не потеряв присутствия духа, спокойно и рассудительно ответил противнику, что готов принять его вызов, но первоначально требует, чтобы его выслушали до конца. Доводы Канта в пользу правого дела поразили Грина, и дело кончилось тем, что он пожал Канту руку, проводил его домой и с тех пор они стали лучшими друзьями.

Грин был чрезвычайно оригинален, в чисто английском вкусе. Достаточно сказать, что он был еще пунктуальнее Канта; его называли «человек, заведенный по часам». Однажды вечером Кант обещал Грину сопровождать его на следующее утро в восемь часов во время прогулки. В три четверти восьмого Грин уже нервно шагал по комнате с часами в руках; в 7 часов 59 минут он надел шляпу, взял палку и, как только пробило восемь, сел в

коляску и поехал. Выезжая, он встретил Канта, который подходил к его дому, опоздав лишь на две минуты. Грин, однако, не остановил коляски и проехал мимо, чтобы наказать Канта за неаккуратность.

Кроме безусловной честности, Грин отличался также проницательным умом, хотя и не имел основательного образования. Сам Кант сказал однажды: «В моей „Критике чистого разума“ нет ни одного предложения, которого я не прочел бы Грину и не просил бы обсудить его». Несколько лет кряду Кант проводил у Грина послеобеденные часы, причем иногда происходили сцены, достойные кисти художника. Явясь к Грину, Кант заставал его спящим в кресле; он сам садился в другое кресло и также засыпал. Затем являлся директор банка Руффман и, в свою очередь, начинал храпеть. В определенный час приходил купец Мотерби и будил всех троих; тогда начинались самые поучительные беседы, которые длились ровно до семи часов вечера. Пунктуальность собеседников была так велика, что они заменяли часы для обывателей околотка. Часто говорили: «Нет еще семи часов: профессор Кант еще не вышел от Грина».

Смерть Грина глубоко опечалила Канта. На время он даже отказался от своих обеденных собраний и бесед; до самой глубокой старости Кант не мог забыть своего друга. Со дня смерти Грина Кант ни разу не ужинал в обществе: это он делал лишь ради Грина. Очень дружен был Кант также с семьею Мотерби, где было много маленьких детей. Кант чрезвычайно любил детей, умел обращаться с ними и входить в их миросозерцание. «Трогательно было видеть, – пишет один из его биографов, – как этот глубокомысленный мудрец интересовался детскими играми и болтовнёю».

Кант вообще обладал способностью входить в чужой мир. Он одинаково ценил всех людей, не разбирая ни пола, ни сословия, ни возраста, ни общественного положения, видя прежде всего в каждом человеке человеческое достоинство. Поэтому в числе его друзей были и светские дамы, вроде графини Кайзерлинг, и купцы, и простые люди, вроде лесничего Вобсера, которого Кант называл «истинно немецким мужем», увековечив его память в одном из своих сочинений. К этому Вобсеру Кант уезжал за несколько верст от Кенигсберга – чуть ли не самое далекое путешествие, которое он позволял себе, никогда не отлучаясь из родного города. В домике Вобсера, в идиллической обстановке, Кант написал свой трактат «О прекрасном и возвышенном». Кант от природы был веселого нрава и даже *с* некоторой склонностью к сатире. Он говорил, что любит литовцев за их сатирические наклонности, и еще в молодости дружил с несколькими

литовскими весельчаками. Кант охотно читал сатирических писателей и утверждал, что сатирики принесли более пользы, чем все схоластики и метафизики. Особенно он ценил Эразма, замечая, что одна его сатира стоит сотни философских трактатов. В самом Канте было, однако, недостаточно желчи и слишком много спокойствия для того, чтобы стать сатириком в полном смысле слова. Следует заметить, что спокойствие Канта и его удивительное самообладание были не столько природными качествами, сколько продуктом работы над самим собою. От природы Кант был вспыльчив, но сумел подавить в себе это качество. Единственный человек, с которым Кант не мог постоянно оставаться спокойным, был его старый слуга Лампе. Находились даже люди, которых смущал резкий тон Канта по отношению к слуге. Присмотревшись ближе, они убедились, что никакое, даже ангельское, терпение не могло устоять против глупости и упрямства этого служителя, который особенно возомнил о себе с тех пор, как узнал, что Кант – великий философ. Лампе приписывал себе часть славы Канта, а между тем был крайне ограничен и вороват. В течение многих лет Кант безусловно доверял ему; наконец убедившись, что при всей своей негодности Лампе еще и нечестен, Кант с болью в сердце рассчитал слугу.

Кант вообще жил по придуманным для себя правилам или, как он выражался, максимам. До чего доходила его страсть сочинять законы для своего поведения, показывает следующий случай. Однажды Кант возвращался со своей обычной прогулки. Как раз в то время, когда философ собирался повернуть в свою улицу, он увидел графа N., ехавшего в кабриолете. Граф, необычайно вежливый человек, тотчас остановил кабриолет, сошел и стал просить Канта, по случаю хорошей погоды, совершить с ним небольшую прогулку. Подчиняясь первому впечатлению, Кант принял предложение и сел в кабриолет. Ржание кровных рысаков и покрикивания графа начинают смущать Канта, хотя граф уверяет, что он правит, как самый лучший кучер. Граф едет за город, посещает свои имения, затем предлагает Канту еще посетить с ним одного доброго друга, живущего за милю от города. Из вежливости Кант, скрепя сердце, соглашается на все. К десяти часам вечера граф привозит Канта домой. Кант потерял весь день, испытал вместо удовольствия лишь тревогу и досаду. С тех пор Кант придумал для себя правило: *никогда более не ездить в коляске, не им самим нанятой и не находящейся в его распоряжении, и никогда ни с кем не кататься.* Это правило Кант соблюдал с тех пор с такой непоколебимой твердостью, что никакие блага в мире не

заставили бы его сесть в чужую коляску.

Было уже замечено, что Кант выработал в себе твердость характера. Кант и в других чтил характер столько же, как и ум. Он особенно ценил людей, обязанных самим себе своим умственным или нравственным развитием. У Канта не было ни малейшего признака зависти или пренебрежения к чужим заслугам – черты, слишком часто свойственные даже великим людям (достаточно напомнить эпизод Лейбница с Ньютоном). Самого себя Кант мерил слишком малою мерою. В нем не было ни капли самоуничижения, но скромность Канта была все-таки весьма велика. Говоря однажды о Ньютоне, Кант сказал: «В науке о природе я сам следую Ньютону, если только можно сравнить малое с великим». Но свои собственные заслуги в области философии Кант сознавал вполне. Ценя других, говоря с уважением даже о своих противниках, Кант не допускал и с *чужой* стороны ни чванства, ни нахальства и, наоборот, с благодарностью и умилением принимал выражения почтения со стороны учеников и поклонников.

Чванливости и самолюбия Кант не терпел ни в ком. Однажды приехал в Кенигсберг его знакомый, граф С., который был недоволен последней статьей Канта и на этом основании не посетил философа. Граф обедал у приятеля. Канта пригласили к обеду, пояснив, что «его ждет граф». Кант ответил, что не приедет, так как, по обычаю, следовало графу к нему заехать. Свидание расстроилось, но в следующий свой приезд граф понял неуместность своего поведения и посетил Канта.

Когда некоторые философские противники Канта стали писать о его работах тоном учителей, он написал статью «О слишком приподнятом и надменном тоне в философии», в которой осмеял претензии своих критиков.

Одною из главных отличительных черт Канта была его безусловная правдивость как в словах, так и в действиях; того же он требовал и от других. Если ему случалось передать с чужих слов какое-либо даже самое маловажное происшествие и если потом он узнавал, что сообщенные ему другим лицом сведения не вполне точны, он спешил исправить неточность. Особенно строг был Кант ко всякому обману. Он сплошь и рядом освобождал малоимущих студентов от уплаты гонорара за свои лекции. Однажды студент, не имевший средств, из ложного стыда не заявил об этом Канту, но, наоборот, сказал, что наверное внесет такого-то числа. Срок прошел, а деньги не были внесены; наконец студент сознался, что никогда и не рассчитывал уплатить. Кант сурово упрекнул студента, хотя и разрешил ему продолжать посещение лекций. Некоторое время спустя тот же студент

просил Канта назначить его в числе оппонентов на одном докторском диспуте. Кант отказал. «Ведь вы и на этот раз можете оказаться неаккуратным, – пояснил Кант. – Что, если вы не явитесь на диспут? Ведь тогда из-за вас все дело пропало!» (По обычаю, непременно должен был оппонировать кто-либо из студентов). Молодой человек впоследствии сам сознавался, что этот урок морали принес ему больше пользы в жизни, чем сотня лекций о моральном поведении.

Глава VII

Главные философские труды Канта; их история. – Кант подвергается преследованию со стороны придворных ханжей. – Последние годы жизни Канта

Мы уже выяснили, что философское миросозерцание Канта выработалось в окончательном виде в течение 1762–1765 годов. Трактат «Об оптимизме» был последней данью, принесенной Кантом догматической философии. В сочинении «Об отрицательных величинах и о реальном основании» (1763 г.) Кант занимает среднее положение между эмпиризмом и рационализмом; в «Сновидениях духовидца» (1766 г.) он приближается к скептицизму Юма, а два года спустя (1768 г.) пишет небольшой трактат «О первом основании различия областей в пространстве», особенно замечательный тем, что он представляет собою переход от эмпиризма к критицизму.

Кант задается здесь вопросом: что такое пространство и чем обусловливаются его свойства? Не могут же наглядные суждения (интуиции), какие содержатся в геометрии, дать очевидное доказательство того, что «абсолютное пространство имеет реальность независимо от существования всякой материи».

Постановка этого вопроса важна в том отношении, что указывает, каким путем Кант постепенно пришел к мысли, что пространство вовсе не имеет «своей собственной реальности», но является лишь «формою» нашей чувственности.

Пространственные отношения вещей сводятся к их положению. Вещи в пространстве находятся между собою в известных расстояниях и каждая вещь занимает свое место. Взаимные отношения положений Кант называет *областями.* Понятие области заключает в себе не только расстояние, но и направление. Объясним это примером: две точки находятся между собою на расстоянии одного аршина. Если одну точку принять за данную, то положение другой еще не определено: она может находиться в любом месте поверхности шара, радиус которого равен одному аршину, а центр находится в первой точке. Надо еще знать, каково направление радиуса, тогда другая точка будет вполне определена. Но направление можно задать лишь по отношению к какому-либо другому радиусу, принятому за данную величину. В конце концов оказывается, что необходимо принять некоторое постоянное направление, но постоянным оно может считаться лишь относительно наблюдателя.

Кант дает еще более простой пример. Напишем на листе бумаги два раза одно и то же слово, например: человек, человек.

Буквы одни и те же, порядок их расположения тот же, но одно слово напечатано справа, другое – слева. Говоря: «справа», «слева», мы относим положение букв к наблюдателю. Если бы свойства пространства зависели исключительно от взаимных отношений между частями объектов, мы не могли бы различить два предмета, отличающихся между собою лишь тем, что один поставлен налево, другой – направо.

Любопытно, что Кант выводит из этого, что понятия «слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади» являются выражением свойств «абсолютного пространства» и лишь после этого решается отнести их также к свойствам самого наблюдателя. При этом Кант выставляет следующие в высшей степени важные соображения, являющиеся чуть ли не лучшей попыткой объяснить *трехмерность* пространства. *Строение нашего тела определяет для нас три основные плоскости, к которым мы и относим все предметы внешнего мира.* Плоскость симметрии разделяет наше тело на правую и левую части; другая плоскость соответствует положению наших органов чувств: глаза, рот, ноздри расположены у нас спереди, чем обусловливается резкое различие между передней и задней областями; наконец, положение нашей головы делает необходимым различение между верхом и низом. Это, так сказать, физиологическое объяснение трехмерности пространства составляет первый шаг к психологическому истолкованию. Очевидно, говорит Кант, что мы воспринимаем области в пространстве лишь по отношению к нашему собственному телу. Кант допускает «особое пространственное чувство» (Raumgefühl), или чувство пространственного существования нашего тела. Он еще не решается, однако, перенести весь центр тяжести с объекта на субъект и полагает, что «абсолютное пространство» трехмерно не только по отношению к нашему телу, но и само по себе; точно так же и другие свойства пространства объясняются не только свойствами субъекта, но и свойствами самого абсолютного пространства как своеобразного объекта, отличающегося от предметов внешних чувств и способного воздействовать лишь на специальное «пространственное чувство».

Канту оставалось сделать еще один шаг: он и был сделан в «трансцендентальной эстетике», то есть в учении об априорных *формах* чувственности, которое составляет важнейшую часть «Критики чистого разума».

Этот капитальнейший из всех трудов Канта появился в печати первым изданием в 1781 году; вторым, значительно измененным

– в 1787 году; позднейшие издания, вышедшие при жизни Канта, не отличаются от второго, которое Кант считал, следовательно, окончательным выражением своих взглядов. Со времени Шопенгауэра в немецкой литературе не утихают споры о сравнительном достоинстве этих двух изданий. Шопенгауэр провозгласил, что второе издание есть искажение первого; его мнение разделяется и теперь многими идеалистами, которые не могут простить Канту того, что во втором издании он напечатал подробное опровержение идеалистических учений. Если самого Канта называют идеалистом и если он сам не вполне отрекся от этого имени, то необходимо помнить, что идеализм Канта совершенно особого рода. Это идеализм критический, или *трансцендентальный.* Под словом *трансцендентальный* – и это необходимо твердо помнить – Кант *подразумевает не то, что стоит выше опыта, а то, что предшествует опыту, как его необходимое условие и что без последующего за ним опыта лишено всякого содержания, а стало быть, и всякого смысла.* Из этого видно, что идеализм Канта гораздо более родствен с философским реализмом, чем с идеалистическими системами вроде картезианства, не говоря уже об учении Беркли. То, что стоит выше и вне всякого опыта, Кант называл не трансцендентальным, а *трансцендентным* и резко осуждал всякие теоретические экскурсы в эту область, признавая ее значение единственно в вопросах нравственных или практических.

В 1770 году, как мы уже знаем, Кант после многолетнего ожидания получил кафедру логики и метафизики и 20 августа этого года защищал вступительную диссертацию «О форме и принципах чувственного и постигаемого (intelligibeln) мира». Неделю спустя Кант, посылая экземпляр этой диссертации Ламберту, писал ему: «Около года уже я льщу себя мыслью, что достиг того понятия, которое никогда вовне не изменится, но, конечно, расширится и которое дозволяет испытывать все метафизические вопросы по совершенно верным и легким мерилам, причем можно с полною уверенностью сказать, насколько эти вопросы разрешимы или нет».

Таким образом, со слов самого Канта ясно, что в 1769 году он окончательно вступил на путь критической философии. Это нимало не противоречит мнению, что такой путь подготовлялся в уме Канта постепенно еще с 1763 года, не считая более ранних отдельных проблесков критического направления. Для истории развития идей Канта особенное значение представляют письма, адресованные им в течение 1770–1781 годов одному из любимейших своих учеников, Марку Герцу. Этот самый Герц был оппонентом Канта на диспуте 1770 года, затем уехал в Берлин,

где вступил в близкие отношения с известным еврейским реформатором Мендельсоном. Впоследствии Герц стал выдающимся врачом и приобрел также известность своими философскими работами. В 1779 году он женился на дочери португальско-еврейского врача, Генриетте, которая славилась во всем Берлине столько же умом и образованием, сколько красотою; ее дом стал сборным пунктом берлинских философов и ученых.

Кант постоянно сообщал Герцу о плане капитального философского труда, задуманного им в 1770 году, вскоре после защиты диссертации. В одном из первых писем Кант сообщает, что намерен написать сочинение под заглавием «О границах чувственности и разума». По словам Канта, чрезвычайно важно не только для философов, но и для всех вообще важнейших человеческих целей провести различие между тем, что относится к природе нашей познавательной способности, и тем, что относится к *природе предметов;* необходимо также знать, что основано на субъективных принципах человеческих душевных сил, исходящих не только из чувственности, но также из рассудка. В письме от 1772 года Кант пишет: «В течение долгого времени мне недоставало еще кое-чего существенного, что на самом деле является ключом ко всем тайнам метафизики, которая до сих пор сама себя не понимала. Я спросил себя: на чем основано отношение представления к предмету?»

Прежние философы прибегали для решения этого вопроса к разным сверхъестественным началам. Платон и Мальбранш допускали какое-то наитие или откровение свыше, Лейбниц сочинил предустановленную гармонию. «Но, – пишет Кант, – допускать, что Deus ex machina определяет происхождение и значение наших познаний, – это нелепейшее из предположений, какое только можно избрать». «Теперь, – пишет Кант, – я в состоянии изложить критику *чистого* разума». Кант полагал, что окончит весь труд, включая критику *практического* разума, в течение «примерно трех месяцев».

На самом деле Канту вместо трех месяцев понадобилось девять лет на исполнение лишь одной из намеченных им задач, на создание критики теоретического разума: Не следует думать, что Кант писал и переделывал написанное: работа происходила в его голове. В своих письмах 1777—78 годов Кант жалуется на состояние своего здоровья. В 1778 году он пишет, что с некоторого времени привык считать здоровьем весьма относительное благосостояние, которое многие почли бы болезнью. По возможности он щадил свои силы и старался отдохнуть. Лишь в 1780 году Кант вновь усиленно принимается

за работу. 1 мая следующего года он пишет Герцу, что вскоре издатель Гарткнох напечатает написанную им, наконец, книгу «Критика чистого разума». По первоначальному плану Канта предполагалась брошюра в несколько печатных листов; девять лет размышления довели ее до размера объемистого тома в 856 страниц (по первому изданию). В одном из писем к Мендельсону Кант говорит, что он обдумывал свое сочинение «по меньшей мере в течение 12 лет», и действительно, 1769 год был, как мы знаем, решительным поворотным пунктом. Но написана была вся книга, по словам самого Канта, «в какие-нибудь 4–5 месяцев, как бы наскоро, правда, с величайшим вниманием к содержанию, но с малым прилежанием относительно изложения и доступности для читателя». Не подлежащее никакому сомнению заявление Канта, что книга была написана в течение пяти месяцев, показывает, что он писал, когда идеи окончательно созрели в его уме. В противном случае даже такой умственный колосс не мог бы справиться с задачей написать более десяти печатных листов в месяц, особенно принимая во внимание необычайную трудность и отвлеченность предмета. Поразительная поспешность окончательной работы отразилась, конечно, на слоге: в «Критике чистого разума» нет той ясности и простоты, какую мы найдем в последующих произведениях Канта. Кант сознавал этот недостаток своего главного труда; но он не искал легкой популярности. «Немногие так счастливы, – писал он Мендельсону, – чтобы думать в одно и то же время и за себя, и за других… Есть только *один* Мендельсон». Окончательная работа была исполнена Кантом в конце 1780 года. В октябре этого года рижский издатель Гарткнох предложил Канту издать его труд; в декабре началось печатание. 6 апреля 1781 года Кант прислал Гаманну – мыслителю весьма оригинальному, хотя и не глубокому, – первые 30 листов, которые тот «прочел в один день». Следующие 18 листов Гаманн получил лишь 6 мая, но все эти 48 листов были лишь серединой; конец и начало все еще не печатались, потому что Кант кое-что переделывал. Временем появления «Критики чистого разума» следует считать лишь июль 1781 года.

Интересно впечатление, вынесенное первым читателем Канта – Гаманном. «Такая объемистая книга, – писал он Гердеру, – не соответствует ни росту автора (мы знаем, что Кант был мал ростом), ни понятию чистого разума, который противопоставляется им гнилому – моему разуму». Затем Гаманн аттестует Канта «прусским Юмом».

Насколько сам Кант сознавал, что его труд не отличается общедоступностью, видно главным образом из того, что он сам

взялся написать популярную переделку, нечто среднее между комментарием и кратким изложением. Таким образом, в 1782 году появилась книга, озаглавленная: «Предисловие ко всякой будущей метафизике, которая будет в состоянии выступить как наука».

Появление этого сочинения было вполне своевременным. Оно на первых же порах должно было устранить недоразумения, вызванные непониманием «Критики чистого разума».

Всего нелепее, конечно, то мнение, которое, при помощи искусственных натяжек и явных подтасовок, пытается превратить систему Канта в род *мистической* философии. Ничто не было более чуждо натуре Канта, чем всякого рода «таинственность и вдохновенность свыше», одним словом – все, из чего слагается мистическое миросозерцание. В беседе с Яхманном Кант однажды сказал вполне категорически: «В моих сочинениях напрасно ищут каких бы то ни было следов мистицизма. *Ни одно мое слово, ни одно выражение не может и не должно быть истолковываемо в мистическом смысле».* Но и без этого автобиографического показания смысл учения Канта вполне ясен для всех, кто способен уразуметь его.

В непонимающих никогда не было недостатка. Желая рассеять всякие недоразумения, Кант сел писать свое «Предисловие к Метафизике» (Prolegomena). Труд этот был еще не окончен, когда (19 января 1782 года) в «Геттингенских ученых известиях» появилась первая рецензия на «Критику чистого разума». Рецензия была написана Гарвэ, философом, впоследствии высоко чтившим Канта и осознавшим крайнюю недостаточность, односторонность и неправильность своей рецензии.

Рецензия, написанная Гарвэ и переделанная до неузнаваемости редактором Федером, изменила первоначальный план кантовского «Предисловия к Метафизике». Кант счел необходимым ответить своим противникам и приписал целую главу, которую назвал «Опытом суждения о критике, забегающей вперед исследования». Здесь Кант уничтожает доводы рецензента, который строит все свои суждения, исходя из утверждения, что философия Канта есть «система высшего идеализма». В ответ на упрек в «идеализме» Кант возражает:

> «Основное положение всех истинных идеалистов, начиная с элеатской школы и кончая епископом Беркли, сводится к следующей формуле: всякое познание посредством чувств и опыта есть не что иное, как чистая призрачность (Schein), и только в идеях чистого рассудка

и разума заключается истина. Основное положение, господствующее всюду в моем идеализме и определяющее его, сводится к следующему: *всякое познание вещей только из чистого рассудка или из чистого разума есть не что иное, как чистая призрачность, и только в опыте заключается истина».*

Но это положение Канта есть не что иное, как основной принцип философского реализма. Неизбежным следствием его является, как мы увидим впоследствии, признание *не зависимого* от нашей личности существования внешнего мира, а это признание и отличает реализм от всех идеалистических систем. Но идеалисты, по недоразумению или по непониманию, ухватились за учение Канта об «идеальности» пространства и времени, толкуя это учение совсем не в том смысле, какой ему придан самим Кантом.

«Пространство и время, – пишет Кант в своих „Prolegomena“, – включая все в них содержащееся, суть не вещи и не свойства вещей самих в себе, но принадлежат исключительно к явлениям вещей; до этого пункта я одного исповедания с идеалистами. Но эти последние, и в особенности Беркли, считали пространство простым эмпирическим представлением… Я, наоборот, впервые показываю, что пространство, со всеми его априорными определениями, может быть познаваемо нами потому, что оно (как и время) присуще нам до всякого восприятия и опыта как чистая форма нашей чувственности… Мой так называемый (собственно критический) идеализм, стало быть, совершенно особого рода, а именно таков, что он ниспровергает обыкновенный идеализм, и в то же время только он придает объективную реальность всякому априорному познанию, даже геометрии. При таком положении дел я желал, во избежание недоразумений, совсем избежать названия („идеализм“); но едва ли это удобно. Поэтому, – заключает Кант, – да будет мне позволено впредь называть мой идеализм *формальным* или, еще лучше, *критическим».*

Тут же Кант поясняет, что настоящий идеализм имеет всегда мечтательную цель и не может иметь иной; «…мой идеализм, наоборот, служит лишь к тому, чтобы понять возможность априорного познания предметов опыта. Это задача не только не разрешенная, но и не поставленная до сих пор. Решение ее ниспровергает весь

мечтательный идеализм, который всегда заключал от наших априорных познаний ко всякому созерцанию, исключая чувственное; никому не приходило на ум, что чувства также должны созерцать априори».

Здесь мы касаемся центрального пункта учения Канта об априорном познании. Весь недостаток кантовской теории, по нашему мнению, заключается не в недостатке реализма, а в том, что Кант берет готовую уже организацию зрелого ума, нимало не задаваясь вопросом о генезисе душевных свойств. Став на эту точку зрения, конечно, придется допустить, вместе с Кантом, «априорные» формы чувственности, но эта априорность есть не что иное, как накопленный опыт, частью наш личный, частью унаследованный от предков. Несомненно, что для зрелого ума пространство и время являются, как то и утверждает Кант, априорными формами, другими словами: развитый ум представляет предметы внешнего мира не иначе, как расположенными в трехмерном пространстве и так далее. Но наблюдения над малыми детьми, над людьми, прозревшими после снятия бельма и им подобными, показывают, что перспективное представление пространства вырабатывается путем опыта. Новорожденный, по-видимому, лишь смутно сознает образы различно освещенных поверхностей, совершенно не умея оценить ни расстояний, ни направлений. Сравнительная психология человека и животных еще более осветила этот вопрос и убедила в том, что все пространственные отношения являются продуктами опыта, находясь в зависимости от нервной и психической организации субъекта. В этом последнем смысле пространство действительно является формою субъекта, формою его чувственности, но Кант не прав, придавая этой форме характер *абсолютной* трансцендентальности, то есть утверждая, что форма *всегда* предшествует опыту. Это справедливо лишь в том *относительном* смысле, что мы рождаемся на свет с готовыми уже душевным предрасположением, конечно, не с «врожденными идеями», как думали некоторые философы, но с унаследованными душевными свойствами. Для своего обнаружения и развития эти душевные качества нуждаются, однако, в упражнении, в опыте. Опытное происхождение пространственных форм (точно так же, как и сознание времени) доказывается многими фактами: например, при значительном изменении условий опыта сознание пространства и времени существенно извращается. Так, под влиянием гашиша, морфия и других наркотических веществ время чрезвычайно удлиняется, малая комната кажется обширным дворцом и т. п. Даже здоровый

ум при несколько необычайных условиях дает пространству и времени совершенно иную оценку, чем в обыденных случаях, в чем относительно пространства убеждается всякий, впервые побывав на Альпах или при полетах на аэростате. Что касается времени, всякий знает, как влияют на сознание времени сильные аффекты, например, любовь, нетерпение, страх, отчаяние. Одним словом, нимало не отвергая относительной априорности пространства и времени как форм, в которые укладывается весь наш опыт – внешний и внутренний – мы утверждаем только, что этот умственный капитал есть не что иное, как накопленный труд, то есть прошлый опыт, личный или унаследованный.

В «Критике чистого разума» и в своих «Prolegomena» Кант исследовал исключительно одну область разума, которую он называл теоретической. В течение пяти лет с 1785 по 1790 год Кант написал ряд крупных произведений, которые, взятые в совокупности, образуют полную систему чистого разума, или систему критической философии. В «Метафизических основаниях естествознания» Кант указал философские основы механики, физики и других естественных наук; в «Метафизике нравов» и «Критике практического разума» (1788) исследованы основные вопросы этики, в «Критике силы суждения» (1790) положены основания эстетики и разобранные телеологические вопросы.

В конце своей философской деятельности Кант обратился к вопросам религии. В 1793 году он издал сочинение, озаглавленное «Религия в границах чистого разума»; последним его трудом был «Спор между факультетами» (1798).

В предисловии к этому последнему сочинению сам Кант изложил историю гонений, возбужденных против него придворными ханжами, во главе которых был новый прусский министр Вёлльнер.

При Фридрихе Великом никому не пришло бы в голову преследовать Канта. Фридрих Вильгельм II был монарх совсем другого рода, слабохарактерный, способный подчиняться всяким влияниям, особенно дурным. В первые годы своего правления он благоволил к Канту. В 1786 году он прибыл в Кенигсберг для коронации, и Кант, бывший в то время ректором университета, должен был встретить короля приветственной речью. Король благодарил и в своем ответе упомянул о философских заслугах Канта. Но склонность короля к мистицизму делала из него скорее поклонника Сен-Жермена или Калиостро, чем почитателя Канта. Духовидцы и прорицатели, гадатели и маги были тогда в моде; эта мода вполне соответствовала духу политической и церковной реакции, который стал свирепствовать с удвоенной силой, когда во Франции вспыхнула революция, грозившая подорвать

монархический принцип во всей Западной Европе. Во всех немецких землях принимались чрезвычайные меры для предохранения добродушных немцев от якобинской заразы.

Насколько изменились времена, видно из следующего. В 1781 году Кант посвятил свою «Критику чистого разума» прусскому государственному министру фон Цедлицу, одному из своих ревностных почитателей. Этот Цедлиц доставал тетрадки с записанными лекциями Канта и писал последнему, что, находясь за сотни верст, считает себя в числе его слушателей. Через два года по восшествии на престол Фридриха Вильгельма II министерство Цедлица пало, и место Цедлица занял честолюбивый богослов, бывший проповедник Вёлльнер, обскурант в полном смысле этого слова. Его поддерживали многие придворные, особенно королевский генерал-адъютант, известный ханжа фон Бишофсвердер. Не успел новый министр взять в руки бразды правления, как начались всякого рода стеснения свободы печати, свободы преподавания, даже свободы проповеди. 9 июля 1788 года, в то время, когда Кант работал над своей «Критикой практического разума», Вёлльнер издал пресловутый религиозный эдикт, в котором всем учителям и священникам было повелено строго держаться официального катехизиса. Всякое уклонение от буквы правоверного протестантизма влекло за собою потерю должности и другие кары. 19 декабря того же 1788 года была отменена свобода печати. Внутренняя печать была подчинена предварительной цензуре, иностранные книги стали подвергаться строжайшему пересмотру. Это произошло накануне Французской революции. Два года спустя были придуманы еще более суровые меры: учрежден особый комитет из трех советников обер-консистории, надзиравший за печатью, церковью и школой. Триумвират этот состоял из Гермеса, Вольтерсдорфа и Гилльнера, людей честолюбивых, грубых и невежественных. Им были предоставлены широчайшие полномочия относительно всех церковных и школьных должностей, все кандидаты на учительские и проповеднические кафедры подвергались в этом комитете особому экзамену с целью удостовериться в их совершенной благонадежности. Триумвиры объезжали провинции, указывали метод преподавания и учебники, которые писали сами или поручали писать людям особо благонадежным. Все подозрительные люди провозглашались врагами религии, атеистами, якобинцами и демократами; даже слово «просветитель» стало бранной кличкой в устах этих обскурантов. Одним словом, это была своего рода инквизиция.

В то время философия Канта уже получила значительное

распространение в Германии; кое-где ее стали преподавать даже с кафедр. Рано или поздно реакционное течение должно было столкнуться с разрушительной критикой, посягнувшей на святыни школьной метафизики. Ведь недаром эта метафизика считалась опорою официальной религии. В самом начале царствования Фридриха Вильгельма II один из триумвиров, Вольтерсдорф, подал королю докладную записку, в которой содержалось неслыханное в истории немецкой философии предложение: жалкий невежда требовал, чтобы первому философу Германии было вовсе запрещено писать. Это показалось неуместным даже королю и его главному министру, и в 1788 году король послал в Кенигсберг Кизеветтера с целью ближе ознакомиться с философией Канта. Быть может, прусское правительство при этой миссии руководствовалось задними мыслями, но Кизеветтер возвратился из Кенигсберга горячим поклонником Канта и дал о его учении самый лестный отзыв. 3 марта 1789 года Кант получил подписанный Вёльнером королевский декрет, в которым содержались лестные выражения по адресу философа, его жалованье было увеличено, он назван «приятным, бескорыстным, искусным и прямодушным мужем».

Но то милостивое настроение короля и Вёльнера было вскоре поколеблено. В Берлине издавался ежемесячный журнал, куда Кант прислал статью «О радикально злом начале в человеческой натуре» (1792). Кант в особом письме просил издателя, чтобы тот послал его статью берлинским цензорам, хотя издатель, Бистер, печатавший свой журнал в Йене, имел право обратиться к более снисходительной йенской цензуре. Кант, очевидно, не желал подвести издателя. По его собственным словам, он не хотел подать и вида, что занимается литературной контрабандой, избегая берлинской цензуры и высказывая так называемые смелые мнения «из-за угла», а не с открытым забралом. Статья попала в руки одного из триумвиров – Гилльмера. Этот цензор возвратил ее издателю без помарок, но с пояснением: «Разрешается печатать, так как только глубокомысленные ученые читают сочинения Канта». Статья была напечатана.

Вскоре после этого Кант прислал в Берлин вторую статью («О борьбе доброго начала со злым») и предложил издателю проделать и с этой статьей ту же процедуру. Издатель неохотно подчинился и вскоре после того писал Канту: «Я никогда не мог понять, почему вы, мой уважаемый друг, во что бы то ни стало напирали на здешнюю цензуру. Я повиновался вам и послал рукопись Гилльмеру. К немалому моему изумлению, он ответил мне, что так как ваша статья ниспровергает всю библейскую теологию, он, следуя своим инструкциям, перечитал ее сообща со

своим коллегою Гермесом, и, так как этот последний отказался подписать, то и он присоединился к его мнению». Издатель пытался поладить с Гермесом, но получил ответ, что цензура руководствуется религиозным эдиктом и что рассуждать тут нечего.

Кант был крайне огорчен и раздосадован этою неудачей. У него были приготовлены еще три статьи. Кант вовсе не желал уступить без сопротивления. Первой его мыслью было послать свои статьи в Гёттинген тамошнему богословскому факультету. Несмотря на дерзость реакции, она не осмеливалась посягнуть на привилегии университетов, сохранивших право печатать без цензуры одобренные ими сочинения. Но вскоре Канта взяло раздумье: случай, происшедший с Фихте, послужил для него предостережением.

Незадолго перед тем в Кенигсберг прибыл молодой человек, сильно нуждавшийся в средствах, но привлеченный желанием слышать и видеть Канта. Это был прославившийся впоследствии философ Фихте.

Во время пребывания в Лейпциге Фихте впервые предался изучению «Критики чистого разума» и, по его словам, «обрел истинное средство против всех своих страданий».

Еще более сильное впечатление произвела на Фихте «Критика практического разума». Фихте говорит: «Невозможно описать то влияние, которое оказала эта философия на все мое мышление… Теперь я верю всей душою в свободу воли, и только при этом условии для меня мыслимы долг, добродетель и нравственность».

Вскоре после этого Фихте отправился в Кенигсберг. Вместо рекомендательного письма он вручил Канту рукопись своего сочинения: «Критика всевозможного откровения». Материальное положение Фихте было отчаянным. «Если я решусь сказать об этом кому-либо, то только самому Канту, – писал он в своем дневнике. – Быть может, у Канта я займу небольшую сумму денег на дорогу. Я отправился сегодня к нему ради этого, но мужество мое пропало. Я решил написать ему». Третьего сентября Фихте пишет: «Получил от Канта приглашение обедать. Он принял меня со свойственной ему сердечностью, но сообщил, что для него решительно невозможно удовлетворить мою просьбу ранее истечения второй половины месяца. Какая милая откровенность!»

Но Кант сделал более того, что обещал. Прочитав рукопись Фихте, он пришел в восторг и посоветовал молодому философу послать рукопись книгопродавцу Гартунгу, обещая свою рекомендацию. Рукопись была первоначально послана в Галле: там, чтобы избавиться от возни с цензурой, обратились за одобрением к богословскому факультету. Но декан Шульце

отказал наотрез. Книга была потом напечатана без участия университета.

Этот эпизод заставил Канта сильно призадуматься относительно своей собственной рукописи. Хотя в Галле были и люди свободомыслящие, среди них Нимейер и Кнапп, большие почитатели Канта, одного сопротивления Шульце было достаточно, чтобы внушить опасения. Сверх того Кант не хотел столкновений между факультетами и триумвиратом, не желая жертвовать чужими интересами в интересах своего дела. В конце концов он пришел к тому решению, которое, казалось, должно было раньше всего представиться его уму. Он переговорил со своими кенигсбергскими коллегами. Богословский факультет университета единогласно высказался в пользу Канта и заявил, что берет на себя ответственность за последствия. После некоторого колебания Кант представил факультету все четыре статьи, дав им общее заглавие: «Религия в границах чистого разума»; декан подписал разрешение печатать, и книга была издана книгопродавцем Николавиусом.

В письме к гёттингенскому профессору Штейдлину Кант говорит о цензурном эпизоде, причем иронизирует над цензорами. «Не понимаю, – пишет он, – почему в первой статье не нашли ничего противного библейскому богословию, тогда как вторая показалась опасной». Кант советует своим преследователям опровергать его «доводами разума, а не молниями, сверкающими из туч, поднявшихся в придворной атмосфере». Это он открыто высказывает и в предисловии к самому сочинению, которое по свободомыслию и смелости далеко оставляет за собою сочинения Лессинга и Реймаруса. Это – решительное отрицание всей догматической теологии, и притом не в отвлеченной форме (как в «Критике чистого разума»), а в виде популярного красноречивого трактата. Без сомнения, не столько идея, сколько форма этого произведения испугала берлинских церберов.

Кант отлично сознавал, что, издавая свое сочинение наперекор прусскому правительству, он тем самым подвергает себя довольно серьезной опасности. Несмотря на свои весьма преклонные лета, на громкую славу, которою он пользовался, на свое высокое положение в университете, Кант ежеминутно мог ожидать, что ему велят подать в отставку.

У прусского правительства оказалось достаточно такта, чтобы не прибегнуть к этой крайней мере. Но и то, что было предпринято против Канта, покрывает правительство Фридриха Вильгельма II вечным позором. Заметив необычайный успех сочинения Канта, вышедшего вскоре вторым изданием, Вёльнер

прислал Канту королевский кабинетный указ (1794), в котором «достойному, высокоученому и преданному» (как он назван в указе) Канту было сделано отеческое внушение. «С величайшим неудовольствием мы заметили, – сказано в этом указе, – что вы злоупотребляете вашей философией для искажения и унижения многих основных учений Св. Писания и христианской веры. Мы были о вас лучшего мнения; вы сами должны понять, как безответственно действуете вы против вашего долга как учителя юношества и против наших, вам отлично известных, отеческих попечений о стране». Затем была высказана угроза, что, если Кант осмелится сделать нечто подобное впредь, он подвергнется «самым неприятным последствиям». Указ подписан так: «По всемилостивейшему специальному приказанию короля. Вёльнер».

Канту было в то время семьдесят лет. Возраст и характер в связи с уважением, которое он питал к законам страны, делали его неспособным к дальнейшей открытой борьбе; но он не мог и безусловно подчиниться. Кант избрал средний путь, указанный благоразумием. Он решил подчиниться этому приказу, но не связывать себя им. Несомненно однако, что это решение было принято Кантом после внутренней борьбы. В его бумагах найдена записка, в которой выражен результат этой борьбы. «Отречение от своего внутреннего убеждения, – пишет Кант, – есть низость, но молчание в случае, подобном настоящему, есть долг подданного. Все, что говорится, должно быть правдой, но нельзя считать обязанностью говорить каждую правду публично».

В этом смысле он ответил на королевский указ, содержание которого скрыл от всех, исключая одного близкого друга. В своем ответе Кант заявил, что упреки, обращенные к нему, неосновательны, но обещал на будущее время молчать. «Как верноподданный Вашего Величества, – писал Кант, – я торжественно заявляю, что впредь совершенно воздержусь от всех публичных лекций о религии». Кант, однако, считал себя связанным этим обещанием лишь по отношению к Фридриху Вильгельму II. Как только король умер и на престол вступил более либеральный Фридрих Вильгельм III, Кант издал «Спор факультетов», в котором между прочим изложил и эпизод с Вёльнером (1798).

Названное сочинение было последним произведением Канта. Достигнув 75-летнего возраста, Кант стал быстро слабеть. Сначала физические, затем и умственные силы все более оставляли его. Еще в 1797 году Кант прекратил чтение всяких лекций; с 1798 года он не принимал более ничьих приглашений и у себя дома принимал лишь самых близких друзей. С 1799 года он вынужден был отказаться даже от прогулок.

Несмотря на это, Кант все еще пытался работать умственно. Он пробовал написать «Систему чистой философии во всей ее совокупности», но силы Канта были уже исчерпаны. Еще в 1792 году Фихте, благоговевший перед Кантом, нашел его лекции «снотворными». За тридцать лет до этого Гердер писал о пламенном красноречии Канта. В 1798 году Кант в своем «Споре факультетов» писал между прочим о возможности побеждать болезни одною силою духа. Но из всех болезней он не предусмотрел одной – старческого бессилия и истощения жизненной энергии. Последняя оставшаяся неоконченною работа Канта («Система чистой философии») долгое время считалась утерянной. В 1858 году были изданы отрывки; работа эта оказалась лишь слабым повторением прежних мыслей философа. Яхманн в биографии Канта поразительно описывает упадок сил этого великого человека. Это была не болезнь, а маразм (упадок сил) в полном смысле слова. Физические силы истощались. Кант всегда был сухощав, – но в первые годы XIX столетия он стал походить на скелет, обтянутый кожей. Давление в голове – хроническое страдание Канта – все более чувствовалось. Кант сердился, когда ему говорили, что это прилив крови, и приписывал все электричеству воздуха. Внешние чувства ослабевали; левый глаз давно перестал видеть, теперь и правый стал изменять. Память отказывалась служить: Кант был вынужден записывать всякие мелочи, чтобы не забыть их через какой-нибудь час. Наконец походка его стала шаткою, он волочил ноги, спотыкался, перестал узнавать знакомых. Когда Яхманн вошел к Канту и, растроганный до слез видом угасающего гения, бросился на шею Канту, тот с удивленным видом спросил: «Но скажите, кто вы, собственно, такой?» Никакие напоминания не повлияли на него. Самая младшая из сестер Канта и бывший ученик его Васянский приняли на себя попечение о старике. В 1803 году Кант записал на памятном листке библейские слова: «Жизнь человека длится 70 лет, много 80». Ему было в то время 79 лет. В октябре 1803 года с Кантом произошел припадок. С тех пор силы его быстро угасали, он не мог более подписать своего имени, забывал самые обыкновенные слова. 12 февраля 1804 года Кант тихо скончался. Последние слова его были: «Это хорошо».

Вскоре после смерти Канта пришло известие, что он избран членом Парижской академии. Он уже числился членом академий Берлинской, Петербургской и Сиенской.

Прежде чем расстаться с личностью Канта, следует сказать несколько слов о его умственных и нравственных особенностях, – собственно, с целью опровергнуть некоторые односторонние мнения о нем. Канта иногда упрекали в сухости сердца,

педантизме и резонерстве. Утверждали, будто он был чрезвычайно груб со своим старым слугой, черств по отношению к сестрам, с которыми в течение 25-ти лет ни о чем не переписывался и даже едва ли виделся, и тому подобное. Все это не более, как намеренное извращение истины. Старый слуга Канта, Лампе, как мы уже заметили, иногда выводил философа из терпения; Лампе был груб, капризен, необычайно высокого о себе мнения и ко всему этому нечестен. Тем не менее, Кант, рассчитав Лампе, был сильно опечален и даже записал для себя на памятном листке правило: «Не думать более о Лампе», так как эти думы долго не давали ему покоя. Что касается сестер Канта, трудно было бы ожидать обширной корреспонденции между философом и женами простых ремесленников; но утверждение, будто Кант не любил своих родных, конечно, неосновательно. Где мог и как мог, Кант помогал своим родным, хотя собственные заработки его были весьма скромны; за свои капитальные (философские труды Кант получал весьма незначительные гонорары. Последние свои работы он сдал молодому книгопродавцу Николавиусу, своему бывшему слушателю. Когда Николавиус открыл книжную торговлю, Кант обещал ему поддержку, и действительно, никакие соблазнительные предложения более богатых издателей не заставили Канта продать им свои последние рукописи.

По смерти Канта оказалось, что у него осталось деньгами около двадцати тысяч талеров. Состояние это едва ли покажется большим, если принять во внимание чрезвычайно скромный образ жизни Канта, его аккуратность и бережливость. Едва ли необходимо предполагать, как думали иные, что друг Канта, купец Грин, оставил ему наследство.

Об умственных особенностях Канта также нередко приводились довольно легкомысленные мнения. Даже близкий приятель Канта, Яхманн, уверяет, что эстетический вкус и вообще то, что Кант называл силой суждения (Urtheilskraft) было у него развито мало по сравнению с разумом и рассудком. Едва ли это основательно. Более прав Шопенгауэр, который изумляется тому, каким образом Кант, проведший всю жизнь в Кенигсберге, не видевший ни картин величайших мастеров, ни лучших архитектурных произведений, не знавший иной природы, кроме полей и лесов в окрестностях Кенигсберга, тем не менее мог высказать много ценных мыслей об эстетике.

Все признают, что Кант обладал чрезвычайно сильной памятью и редкой способностью представлять себе вещи по одному описанию или с чужих слов. О памяти Канта можно судить по тому, что он знал почти наизусть своих любимых

поэтов – Галлера, Попа, Бюргера и Хагедорна. О способности его «внутреннего созерцания» можно судить по тому, что Кант поразительно умел описывать страны, в которых никогда не бывал. Однажды Кант разговорился с одним англичанином об Уэстминстерском мосте и обнаружил такое знание подробностей, что англичанин счел его архитектором или инженером, долгое время проживавшим в Лондоне. В другой раз Кант говорил об Италии, и собеседник решил, что он много путешествовал на юге. Никогда не сделав ни одного химического опыта, Кант знал все подробности химических манипуляций в таком совершенстве, что раз, беседуя за столом со знаменитым химиком, д-ром Хагеном, привел того в совершенное изумление. «Никогда бы я не поверил, – сказал Хаген, – что можно знать так практическую химию, не имев никакой практики».

Но бесспорно, что всего сильнее была развита у Канта способность анализировать и систематизировать понятия. По силе и глубине философского анализа Кант не имеет себе равного между новыми философами; из древних он может соперничать с Аристотелем. По построительной способности, «архитектонике», Кант не уступает Платону. Многие, в том числе Шопенгауэр, полагают даже, что «архитектоника» Канта, его стремление к симметрии и правильности философских построений и подразделений переходят границы должного: так, у Канта почти всегда находим трихотомию, то есть подразделение на *три* отдела. В этом упрекали Канта еще его первые рецензенты, но он ответил на упрек указанием на причины, побудившие его принять такие подразделения. Неверно понятое объяснение Канта послужило чуть ли не главным источником для пресловутого диалектического метода Гегеля.

Глава VIII

Характер и значение философии Канта. – Синтетические априорные суждения. – Априорные формы чувственности: пространство и время. – Различия между трансцендентальным и трансцендентным. – Феномены и нумены. – Антиномия. – Свобода воли. – Нравственность и религия чистого разума

Пределы нашего труда дозволяют нам лишь самый беглый очерк философии Канта. Цель этого очерка как по преимуществу биографического состоит не в ознакомлении с учением Канта, а единственно в указании на его историческую роль, его связь с предшествующими и последующими философскими учениями.

Можно без всякого преувеличения сказать, что при составлении своей системы Кант опирался на все предыдущее развитие философии и что, в свою очередь, его система стала исходным началом всех главных позднейших систем; причем, разумеется, не было недостатка в учениях, вконец извративших смысл кантовского критического идеализма.

Что касается связи философии Канта с главными предшествующими системами, достаточно указать на следующие бесспорные положения, принятые всеми историками философии и подтверждаемые прямыми показаниями самого Канта. Несомненно, что в философии Канта соединились начала самых разнообразных философских течений. Так, у Аристотеля Кант заимствовал, преобразовав его, учение о категориях, или основных понятиях рассудка; у Платона и других идеалистов взяты – и опять-таки совершенно переработаны – основные начала теории идей разума. Греческая философия дала Канту основание различать явления (феномены) и вещи в себе (нумены); и снова мы видим, что Кант расширяет эти понятия, придавая им более глубокое значение. Точно так же еще древние не раз задавались вопросом о неразрешенных противоречиях (антиномиях) нашего разума. Одни из древних школ утверждали, например, что мир конечен; другие, наоборот, доказывали, что он бесконечен; одни признавали, другие отрицали пустоту в природе и так далее. Кант точнее определил эти антиномии, дал подробные доказательства за и против каждого положения, но не с софистической целью запутать ум, а наоборот, с целью найти источник противоречия. И он действительно удачно разрешил эту задачу. Остается поэтому изумляться смелости тех критиков Канта, которые до сих пор

утверждают, будто сам Кант считал свои антиномии «неразрешимыми» и будто эти антиномии побудили Канта признать, теоретически им отвергнутый, «мистический элемент». На это можно ответить, что, когда при жизни Канта появились подобные суждения, Кант, чувствуя себя уже слишком старым для полемики, поручил одному из своих друзей (Яхманну) написать опровержение, а сам написал лишь предисловие, в котором отзывался о всяком мистицизме как о лжефилософии (Afterphilosophie), подобно тому, как в своем последнем крупном труде («Религия в пределах чистого разума») написал целую главу о лжеслужении Богу (Afterdienst Gottes), считая добродетельную жизнь настоящим служением.

Выше было уже выяснено влияние, оказанное на Канта его ближайшими предшественниками: с одной стороны – Лейбницем и Вольфом, с другой – Юмом и Руссо. Критика Канта действительно занимает среднее положение между всеобъясняющим рационализмом Лейбница и эмпирическим скептицизмом Юма, между примиряющей, сухой философией Вольфа и страстным протестом Руссо.

Учение Канта, в крупных чертах, распадается на три части: критику теоретического разума, критику практического разума (или учение о нравственности) и критику эстетического суждения. Другими словами, метафизика, *понимаемая как отрицание старой метафизики,* этика и эстетика – таково содержание философской системы Канта. Теология не является у него отдельной, самостоятельной областью, так как вся основана на морали.

Приведем основные положения «метафизического» учения Канта, воздерживаясь на этот раз от подробных критических замечаний: главное из них, а именно в пользу опытного происхождения и относительного характера априорных форм Канта (пространства и времени), было уже нами сделано.[2]

В начале своего исследования Кант задается вопросом: возможна ли такая наука, как метафизика, и замечает, что до него этот вопрос почти не был поставлен. Серьезнейшей попыткой постановки более частного вопроса, входящего в этот общий, была скептическая система Юма. Вместо общего вопроса о возможности метафизики Юм задался целью узнать: возможно ли доказать существование необходимой связи между причиной и следствием? Это, конечно, один из капитальнейших философских вопросов, от которого зависит взгляд на то или иное значение всех истин физических наук, не могущих сделать ни шага без понятия о причине явления. Юм, как известно, решил вопрос в скептическом смысле. По какому праву разум считает, что нечто,

именуемое причиной, обладает такими свойствами, что раз оно дано, этим самым необходимо дается другое, раз дано А (причина), то необходимо дано и Б (следствие)? Почему существование А *необходимо* влечет за собою существование Б? Юм решил, что тут кроется просто иллюзия, обман воображения. Воображение связывает между собою явления А и Б, руководствуясь часто повторяющимся опытом; ассоциация (сочетание) представлений, то есть чисто субъективная необходимость, или *привычка,* ложно принимается нами за нечто объективное, находящееся в самой причине и в самом следствии. Другими словами, по мнению Юма, никакой необходимой связи между явлениями нет, и она является лишь иллюзией нашего разума.

«Сознаюсь, – откровенно пишет Кант, – что учение Юма прежде всего прервало мою догматическую дремоту и дало совершенно новое направление моим исследованиям… Я был далек от того, чтобы принять выводы Юма, вытекавшие лишь из того, что Юм не представил себе задачи во всей ее совокупности». Вместо того, чтобы, подобно Юму, ограничиться изучением идеи причинной связи, Кант поставил гораздо более общий вопрос: каким образом вообще наш рассудок может составлять априорные, то есть предшествующие опыту суждения? Кант заранее исключил так называемые аналитические суждения, составляющие лишь простое расчленение и объяснение данного понятия, и занялся суждениями синтетическими, то есть такими, которые прибавляют к данному понятию новое содержание. Если я говорю: все тела протяженны, то этим я нимало не расширяю понятия о теле, но лишь объясняю его, так как понятие о протяжении уже входит в понятие тела. Такие объяснительные суждения называются аналитическими, и они, разумеется, не требуют опыта. Было бы нелепо проверять опытом относительно каждого тела свойство протяженности, без которого само тело немыслимо. Иное дело суждение: «Все тела тяжелы». Тяжесть не есть необходимое свойство тела, вытекающее из самого понятия о теле. Тело не может быть более или менее протяженным, но тела бывают более или менее тяжелыми, и ум легко допускает существование тел совсем не тяжелых, невесомых. Если я говорю: «Некоторые тела тяжелы», то это уже синтетическое суждение, потому что к понятию тела я прибавляю новое содержание, приписывая ему свойство быть тяжелым. Спрашивается, каким образом подобное суждение может быть априорным, то есть предшествовать опыту? Что убеждает меня в том, что все тела в природе *необходимо* тяжелы? Аналитическое суждение априорно даже в том случае, если составляющие его понятия эмпиричны.

Если я говорю: «Золото – желтый металл», то не требуется никакого проверочного опыта, это есть лишь расчленение понятия о золоте. Все чисто опытные суждения, наоборот, синтетичны, потому что расширяют содержание понятия. Но, спрашивается, следует ли сказать, наоборот, что все синтетичные суждения опытны, как думает Юм относительно суждений о причинной связи?

По мнению Канта, ничего нет легче, как указать на такие синтетические суждения, которые вполне априорны. Таковы, по его словам, все математические суждения. Возьмем, например, суждение $7+5=12$. На первый взгляд кажется, что оно имеет аналитический характер, то есть, что понятие суммы $7+5$ уже содержит в себе понятие 12. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не так просто. Сколько бы я ни анализировал понятия семи и пяти, соединенных в одну сумму, я до тех пор не получу понятия двенадцати, пока не прибегну к наглядности или к созерцанию. Я должен, например, призвать на помощь свои пальцы или наметить семь точек и еще пять точек и, соединив их вместе, сосчитать все подряд. Отсюда следует, что всякое арифметическое сложение есть не анализ слагаемых, а синтез, то есть к понятию о взятых вместе слагаемых прибавляется новое содержание посредством самого акта сложения или заменяющего его действия – построения суммы при помощи пальцев, точек или косточек на счетах. Таким же синтетическим характером отличаются все геометрические и алгебраические суждения, исключая тожества и аксиомы, да и эти последние не строго аналитичны, но требуют наглядного построения. Мы, например, наглядно убеждаемся в том, что целое больше своей части. Предложение «Прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками» есть синтетическое суждение, потому что понятие о прямой, то есть линии с неизменным направлением, вовсе не включает в себя понятия о величине расстояния: это последнее присоединяется лишь путем наглядности, посредством действительного построения прямой линии.

Итак, существование синтетичных и в то же время априорных суждений, по мнению Канта, доказывает уже само существование математики как науки, состоящей из суждений априорных и в то же время очевидно расширяющих содержание понятий.

Заметим, что то, что Кант считает в математике абсолютно априорным, есть не что иное, как накопленный опыт. Личный и унаследованный опыт убеждает нас сотни раз в том, что, например, прямая линия есть кратчайшее расстояние межу двумя точками на плоскости и, вследствие глубокого источника этого опыта, результаты его кажутся нам интуитивными (наглядными),

то есть представляющимися уму непосредственно, без всякого опыта и без всяких умозаключений. Очевидно, что даже животным со сколько-нибудь сложной организацией важна экономия времени и что они стремятся, например, поймать добычу или убежать от опасного врага, избирая самый краткий путь; таким образом, создается прочная ассоциация представлений о кратчайшем пути и о прямой линии. Точно так же образуются и другие основные понятия, из которых исходят арифметика, геометрия и другие отрасли математики. Кант прав, считая математические суждения априорными, но он совсем упускает из виду их первоначальный генезис, а поэтому считает априорность чем-то абсолютным, тогда как на самом деле это понятие в высшей степени относительное. То же следует сказать и о наглядности, на которую ссылается Кант. Наглядность далеко не для всех одинакова. Математику кажутся наглядными такие предложения, которые для школьника требуют доказательств, иногда превышающих его способность понимания.

Открытие априорных синтетических суждений Кант считал одною из главных заслуг своей философской критики. Как он сам замечает, школа Лейбница и Вольфа не имела ни малейшего представления о таких суждениях. Вольф и Баумгартен пытались, например, основать закон о «достаточном основании» на законе логического противоречия; но посредством этого последнего могут быть добыты лишь аналитические суждения. Такие суждения, как A = A, и все подобные тавтологии служат для связи цепи доказательств, но не могут дать ни единого нового принципа.

Если бы Фихте, Гегель и многие другие «эпигоны» Канта поняли смысл этой стороны учения Канта, они могли бы избавить и себя, и своих сторонников от множества бессодержательных тавтологических или, что еще хуже, внутренне противоречивых формул. Как заметил сам Кант, Локк и его школа были ближе всех к постижению синтетических суждений. Но даже Юм не дал полного решения задачи, а потому он и мог усомниться в самом существовании априорности и отверг объективный закон причинной связи, заменив его субъективной необходимостью (ассоциацией представлений).

От общего вопроса о возможности априорных суждений Кант переходит к частным вопросам о возможности суждений математических, естественнонаучных и метафизических.

Что математика и естествознание *возможны,* не требует доказательства, так как эти науки существуют. Но для Канта важно решить вопрос: *каким образом* они возможны. Это вопросы *теории познания,* – науки, основанной Кантом и получившей

значительное развитие со времени возникновения так называемого новокантианства, то есть с 60-х годов XIX столетия. Все метафизические системы, а также системы мнимых продолжателей Канта, вроде Гегеля, совершенно игнорировали вопрос о возможности того или другого познания, и о том, где источники этой возможности.

Исследуя вопрос о характере математических суждений, Кант говорит следующее. Все математические предложения имеют характер всеобщности и необходимости; стало быть, они не основаны на опыте, который может доставить лишь относительную, а не абсолютную общность и необходимость.

Кант выяснил, что априорный синтез основан на предшествующем опыту созерцании (Anschauung). Созерцание есть не что иное, как наглядное представление, то есть такое, которое получается непосредственно. Возникает новый вопрос: каким образом возможно «созерцать» что-либо, то есть наглядно себе представить априори, раньше опыта? На первый взгляд это кажется невозможным. На это Кант возражает: «Если бы наше созерцание всегда должно было представлять предметы или вещи таковыми, каковы они *сами в себе,* то есть независимо от нашей мыслительной способности, то очевидно, что всякое созерцание было бы эмпирическим, так как оно обусловливалось бы необходимым присутствием созерцаемого предмета: свойства этого предмета не могли бы «переселиться» в мою способность представления, и даже если бы предмет мог сообщить мне свои свойства, то все-таки я не мог бы познать его, каков он сам в себе, независимо от меня как преемника его свойств. Если действительно возможно априорное созерцание, то необходимо допустить, что оно предшествует присутствию всякого созерцаемого предмета. Но если выбросить из созерцания всякие предметы, то что останется? Очевидно, может остаться лишь то, что придает моим представлениям не содержание, а лишь известный порядок, известную *форму».* Таким образом, Кант приходит к замечательному выводу: априорное созерцание (а вместе с ним и вся математика) возможно лишь таким образом, что оно содержит лишь *форму* чувственности, находящуюся не в объектах, а в моем субъекте и предшествующую всем действительным впечатлениям. Для математики такими априорными формами чувственного созерцания являются *пространство* и *время.* Но раз это только *формы,* а не объекты, то очевидно, что сами по себе как пространство, так и время лишены содержания. Лишь благодаря *опыту* они наполняются содержанием; опыт этот дается ощущением (Empfindung) посредством наших внешних и внутренних чувств.

Но раз формы чувственности – пространство и время – находятся в субъекте, а содержание дается опытом, посредством ощущений, то отсюда прямо следует, что все наше познание как априорное, так и эмпирическое, применимо лишь к предметам опыта и ни в каком случае не может быть сверхчувственным, сверхопытным или, по Канту, *трансцендентным.* Прежде всего, очевидно, что мы познаем не вещи в самих себе, а только явления. Действительно, раз содержание наших представлений дается ощущениями, а форма существует в субъекте, то на долю «вещи в себе» не остается ровно ничего, кроме нашей уверенности в ее существовании: *форма* оказывается чисто субъективной, а *содержание* – результатом воздействия объекта на субъект; *чисто же объективного* мы ничего познать не можем, хотя мы уверены в существовании независимых от нас объектов как источников наших ощущений.

Весь так называемый «идеализм» Канта сводится поэтому к признанию субъективных форм, хотя и предшествующих опыту, но помимо опыта лишенных всякого содержания и, стало быть, применимых исключительно к предметам опыта, к явлениям, а не к трансцендентным реальностям. В этом – огромный шаг вперед, сделанный Кантом. Он первый объяснил вполне, почему абсолютное познание невозможно. И до него догадывались об этом, но в прежнее время слишком часто считали человеческое знание подобным сновидению; Кант, наоборот, показал, что относительность знания вполне совместима с его достоверностью, что мы вовсе не вращаемся в мире смутных призраков и бессвязных сновидений, а просто мыслим сообразно с законами нашей чувственности, нимало нас не обманывающей, но и не сулящей нам мнимого познания. Призраками и сновидениями оказались, наоборот, как раз те абсолюты и трансцендентные реальности, которыми тешились метафизические системы.

Удар, нанесенный Кантом всем догматическим, метафизическим системам, был смертельный. Единственные пути, которые оставались еще открытыми метафизике, состояли либо в произвольной переделке учения Канта, либо в изобретении систем, основанных на непризнании элементарных законов логики и на грубом смешении понятий, разделенных Кантом. Все подобные системы были не развитием учения Канта, а движением вспять.

По нашему мнению, Кант сокрушил догматическую метафизику не только своим учением о непознаваемости «вещей в себе», но и решением своих так называемых *антиномий.*

Кант не принял учения сенсуалистов о чувственности как общем источнике всякой душевной деятельности. Сенсуалисты,

отцом которых (в новейшей философии) считается Локк, сводили всякое мышление к ощущению. Сам Локк, правда, различал ощущение от «размышления», но его взгляды по этому вопросу были несколько сбивчивы. Поэтому Кант противополагал сенсуалиста Локка – «интеллектуалисту» Лейбницу: последний считал не чувства, а ум основою мыслительных способностей человека. Кант не последовал ни за Лейбницем, ни за Локком. Он считал чувства и ум двумя независимыми источниками мысли: без ума чувства слепы, они дают лишь бессвязный материал; без чувств ум пуст, его понятия лишены содержания. Новейшие успехи психологии показывают, что и в этом случае эмпирики и сенсуалисты были правы, если речь идет о *происхождении* сложных душевных способностей, которые возникают из простейших чувствований; но Кант прав относительно развитого организма, в котором есть несомненно известное подразделение функций, соответствующее дифференцированию нервной системы на центральный и периферический аппарат. Едва ли поэтому можно сомневаться в том, что в психологии необходимо отличать ум от чувств. Не довольствуясь этим, Кант разделяет умственную деятельность на рассудок, силу суждения (Urtheilskraft) и разум – разделение сложное и искусственное.

В противоположность пассивной восприимчивости чувств рассудок, по Канту, есть активная способность, связывающая понятия и образующая правила. Тем не менее, «все суждения и правила рассудка могут иметь исключительно опытное применение, то есть относятся исключительно к явлениям, а не к вещам в себе». Чтобы убедиться в этом, достаточно напомнить, что раз понятие не относится ни к какому предмету возможного опыта, оно бессодержательно и является чисто логической функцией, которая ни на шаг не расширяет области нашего познания. Таково, например, понятие о «случайности», если под нею подразумевать «беспричинность». Анализируя это понятие, легко убедиться, что у нас нет никакого критерия для суждения об отсутствии причин явления, а поэтому сказать, что явление «случайно», – значит просто заявить, что мы не успели изучить его причины, но вовсе не значит доказать, что никаких причин на самом деле нет.

Под *разумом* Кант подразумевает способность составлять принципы и образовывать идеи. Принципы образуются из объединения правил, идеи – из обобщения понятий. Рассудок доставляет нам знание, разум – понимание. Разум работает не над данными опыта, а над понятиями. В этом смысле он превосходит возможный опыт и доставляет идеи – понятия, стоящие выше опыта. Не следует, однако, думать, что разум

может освободить нас от условий чувственности и опыта настолько, чтобы с помощью его мы могли познать «вещи в себе». Представим себе умозаключение от чего-либо известного к другому, о чем мы не имеем ни малейшего понятия, но чему мы, поддаваясь иллюзии, приписываем объективную реальность. Полученный вывод будет обманом разума или, как выражается Кант, *разумничаньем.* Кант различает три рода «разумничанья» – паралогизмы, антиномии и теоретические идеалы. Остановимся на самом характерном из них – антиномиях. Антиномия есть противоположение двух утверждений, из которых каждое по виду может быть одинаково убедительно доказано. Примером может служить начавшийся еще в древности спор о величине и продолжительности существования мира. Кант ставит «тезис»: мир имеет начало во времени и в пространстве, и «антитезис»: мир безграничен и бесконечен в пространстве и во времени, и показывает, что каждое из этих предложений имеет за себя доводы, вроде бы весьма сильные. Спрашивается, где же истина? Кант разрешает этот вопрос следующим образом.

Противоречия, говорит он, бывают двоякого рода: аналитические (логические) и диалектические. Из логически противоречащих друг другу суждений одно должно быть ложным. Если я говорю: люди смертны, а кто-либо утверждает, что люди бессмертны, то очевидно, что я прав, если только смерть подразумевать в общепринятом смысле этого слова. Иное дело, если я скажу: «Всякое тело пахнет либо хорошо, либо нехорошо», может случиться, что для данного тела оба эти утверждения ложны, а именно, что тело вовсе не имеет запаха. Такого рода все диалектические противоречия. Если я утверждаю: мир *в пространстве* бесконечен, а мне говорят, что мир конечен, то мы оба говорим о мире явлений, потому что пространство есть субъективная форма (форма чувственности). Но при этом я в сущности утверждаю лишь одно, а именно, что *пространство* бесконечно, и этим вовсе не доказываю, что эта сама по себе пустая форма наполнена каким-либо содержанием. Мой противник, утверждающий, что мир конечен, не может доказать конечности пространства, но его утверждение, что мир явлений имеет пределы в пространстве, также произвольно, потому что ни он, ни я не знаем этих пределов. На самом деле, при всех подобных утверждениях, обе стороны воображают, что имеют дело не с миром явлений, а с миром как *вещью в себе,* независимым от нашего способа познавания. Если отбросить эту иллюзию, то окажется, что мир есть не что иное, как эмпирическое восхождение нашей мысли в ряду явлений. Очевидно, что мир – величина вполне неопределенная – никогда

не может быть нам дан в целости, а поэтому одинаково нелепо утверждать, что «мир как целое» конечен или бесконечен. Мир сам в себе нам вовсе не известен, а мир как ряд явлений, есть *величина неопределенная,* постоянно колеблющаяся в зависимости от суммы опыта, стало быть, не конечная, но и не бесконечная, ибо никакого мерила «величины мира» у нас не существует.

Но точно так же разрешается и знаменитая антиномия, противополагающая между собою идеи *необходимости* и *свободы.* Существует ли свобода воли, свобода человеческих действий, или же человек, подобно камню, подчиняется лишь закону необходимости? Кант отвечает на это: *свобода вовсе не противоречит необходимости:* человек в одно и то же время и свободен, и подчинен естественным законам. В мире явлений все подчинено закону причинной связи. Но понятие свободы не относится к явлению. Свобода есть способность самостоятельного начинания, то есть не требует никакой другой причины, кроме себя самой: очевидно, что свобода относится не к явлению, а к «вещи самой в себе». Поэтому без всякого противоречия можно признать, что одна и та же вещь сразу и свободна (как вещь в себе), и не свободна (как явление). Разумное существо, действующее по законам разума, то есть на основании присущих ему идей, свободно, но в то же время оно подчинено и естественным законам, например, падает при известном положении центра тяжести, подобно всякому неустойчивому телу. Весь спор о свободе воли основан на недоразумениях, на смешении явления с «вещью в себе». Действия *свободны* единственно по отношению к разумному субъекту, сознающему свою способность действовать по основаниям разума; они *необходимы* по отношению к внешним причинам явления. Если бы можно было научно изучить все причины, побуждающие меня действовать так, а не иначе, то и это не превратит меня в бессознательный автомат, не лишит меня сознания моей свободы как разумного существа.

На это можно было бы возразить Канту, что о «вещах в самих себе» мы не имеем никакого познания, исключая то, что они существуют, то есть служат подоплекой явлений; откуда же мы можем знать, что какая-либо «вещь в себе» определяется законом свободы? Кант предвидел это возражение. Он утверждает, что, хотя мы и не знаем вообще о «вещах в себе», их свойства, но одно их свойство нам известно, а именно: мы знаем, что постигаются они умом, а не чувствами; поэтому и характер у них должен быть «умопостигаемый», а не чувственный, следовательно, к ним «неприложимо отвлеченное от чувственных предметов понятие естественного закона или необходимости». Понятие о

необходимой причинной связи всегда включает в себя понятие *времени* (действие всегда следует за причиной, а не предшествует ей). Но *время,* как уже показал Кант, присуще не «вещам в себе», а явлениям, потому что оно есть лишь форма нашей чувственности, которая наполняется содержанием, взятым исключительно из мира явлений. Из этого уже ясно, что в мире «вещей в себе» (нумене) о времени не может быть речи, стало быть, нет и следования событий, но есть лишь безусловное самоопределение, то есть полная независимость от всего предшествующего, а это и есть понятие свободы. Одним словом, понятие причины обязательно включает понятие времени, а где нет времени (в мире нуменов), там не может быть и речи о причинной связи.

Результатом всей критики теоретического разума является поэтому следующее положение: «Разум, при посредстве всех своих априорных принципов, не может нам дать ничего сверх того, что доставляют нам предметы возможного опыта»; но это *ограничение* нашей познавательной способности тем самым признает существование *объективной границы* опыта, не подлежащей законам чувственного мира, в том числе и закону необходимости. «Трансцендентальные идеи, – говорит Кант, – хотя и не научают нас ничему положительному, однако уничтожают дерзкие и суживающие умственное поле утверждения материализма, натурализма и фатализма и тем самым дают простор моральным идеям за пределами умозрения».

Таким образом, Кант, нисколько не отвергая детерминизма в мире явлений, отбрасывает его в мире нуменов и тем подготовляет почву для своего нравственного учения, сразу устраняя возражения относительно несовместимости законов природы с законами нравственности. Таким путем мы наконец проникаем в область *практического* разума.

Переход от теории к практике происходит в философии Канта самым естественным путем, исходя из того же закона причинности.

Кант задается вопросом, почему, применяя такие понятия, как, например, понятие причины, ум наш не довольствуется предметами опыта, но стремится проникнуть и дальше, в область нуменов? Ближайшее рассмотрение показывает, что не теоретические, а практические цели необходимым образом побуждают нас к этому. В области умозрительной (теоретической) мы убеждаемся, что бездна между чувственно обусловленным и сверхчувственным совершенно незаполнима. Иное дело область практики, область нашей деятельности, проистекающей от нашей воли. Воля в самом своем понятии скрывает уже понятие причинности, но совсем иного рода, чем

причинность по естественным законам: причинность воли соединена со свободою, то есть сознанием, что *она определяется непосредственно нравственным законом.* Кант придает особенное значение тому обстоятельству, что нравственное значение поступка зависит именно от *непосредственного воздействия разума* (дающего закон) *на волю.* Этим теория Канта существенно отличается от большей части этических систем. «Если определение воли, – говорит Кант, – совершается даже *сообразно с* нравственным законом, но не непосредственно, а лишь через посредство чувства, каково бы оно ни было, то поступок будет легальным (то есть сообразным с нравственным законом), но не моральным».

Чтобы понять это, представим себе, что кто-либо совершает поступок, имеющий внешний вид нравственности, ради страха или из честолюбия. Такой поступок, очевидно, нельзя еще назвать нравственным. Но Кант идет еще дальше. По его мнению, если руководившее нами чувство было даже, как говорят, хорошим (например, симпатия), и мы подчинили нашу волю не нравственному закону, а велению этого чувства, то наш поступок еще не может считаться моральным. Если я делаю добро только потому, что мне это доставляет удовольствие, мой поступок также еще не может считаться нравственным. Эта сторона учения Канта вызвала сильный отпор и даже насмешки. Многие утверждали, будто Кант требовал, чтобы всякий нравственный поступок совершался не с удовольствием, а с отвращением. Даже поэт Шиллер, один из самых пламенных почитателей Канта, полагал, что Кант оставил слишком мало на долю чувства и что его требования чересчур суровы.

Кант возразил на это следующим образом: «Я действительно признаю, что в понятии нравственного долга, именно ради его достоинства, не может быть *привлекательности.* Величие закона внушает почтение, чуждое и отталкивающего страха, и интимной привлекательности. Но *добродетель,* то есть прочное настроение, побуждающее к точному исполнению долга, в своих последствиях благодетельна более, нежели природа и искусство; и прекрасное зрелище человечества в этом образе добродетели, конечно, допускает присутствие граций, которые, однако, держатся в почтительном отдалении, пока речь идет единственно о долге». «Но если спросят, каков эстетический характер и каков темперамент добродетели, – бодрый, стало быть веселый, или же тревожно-униженный и забитый? – то едва ли это требует ответа. Это последнее рабское настроение духа не может появиться без скрытой ненависти к нравственному закону, и радостное сердце, следующее своему долгу, есть признак подлинности

добродетельного настроения».

Кант не только учил, но и жил таким образом, как описано в этих красноречивых словах. Мрачный аскетизм и преувеличенная суровость были совершенно чужды его натуре и его учению.

О Канте, как и о Сократе, можно сказать, что он был не только философ в обыкновенном смысле этого слова, но мудрец, живший в мире и для мира. Он сам определил всю свою деятельность, сказав, что две вещи в мире наполняют его священным трепетом: созерцание звездного неба и сознание нравственного долга. В своей «Естественной истории неба» он положил начало самым широким обобщениям относительно мира явлений; в своем сочинении о религии Кант провозгласил принцип: нравственная жизнь, и только она одна, есть истинное служение Божеству. «Все, за исключением добродетельной жизни, что человек думает сделать, чтобы угодить Богу, есть просто суеверие и лжеслужение (Afterdienst) Божеству». Если о каком-либо философе можно сказать, что для него религия была моралью, и, наоборот, мораль – религией, то таким философом был, конечно, Кант. Он имел полное право сказать, что его учение есть религия чистого разума.

Источники

Литература о Канте настолько обширна, что мы ограничиваемся указанием лишь на главнейшие сочинения, в которых можно найти чисто биографические сведения.

l. *Borowski.* Darstellung des Lebens und Charakters Kants. 1804.

2. *Jachmann.* Kant. 1804.

3. *Wasianski.* Kant. 1804.

4. *Schubert.* Kants Biographie. (Kants Werkeherausgegeben von Rosenkranz und Schubert. Bd. 11).

5. *Kuno Fischer.* Kant. Heidelberg. 1889.

6. *E. Arnoldt.* Kants Jugend.

notes

Примечания

1

Тот из немецких поэтов, который наиболее подчинился влиянию философии Канта и открыто признавал это влияние – мы говорим о Шиллере – как известно, более всех способствовал серьезному отношению поэзии к женщине; достаточно указать на ряд чудных женских типов, составляющих главную прелесть драматических произведений Шиллера.

2

При изложении системы Канта мы будем, без особых цитат, приводить разные выражения из его главных сочинений, а именно из «Критики чистого разума», из «Prolegomena», из «Критики практического разума» и других сочинений 1781–1798 годов, так как, по нашему мнению, все эти труды составляют одно неразрывное целое.